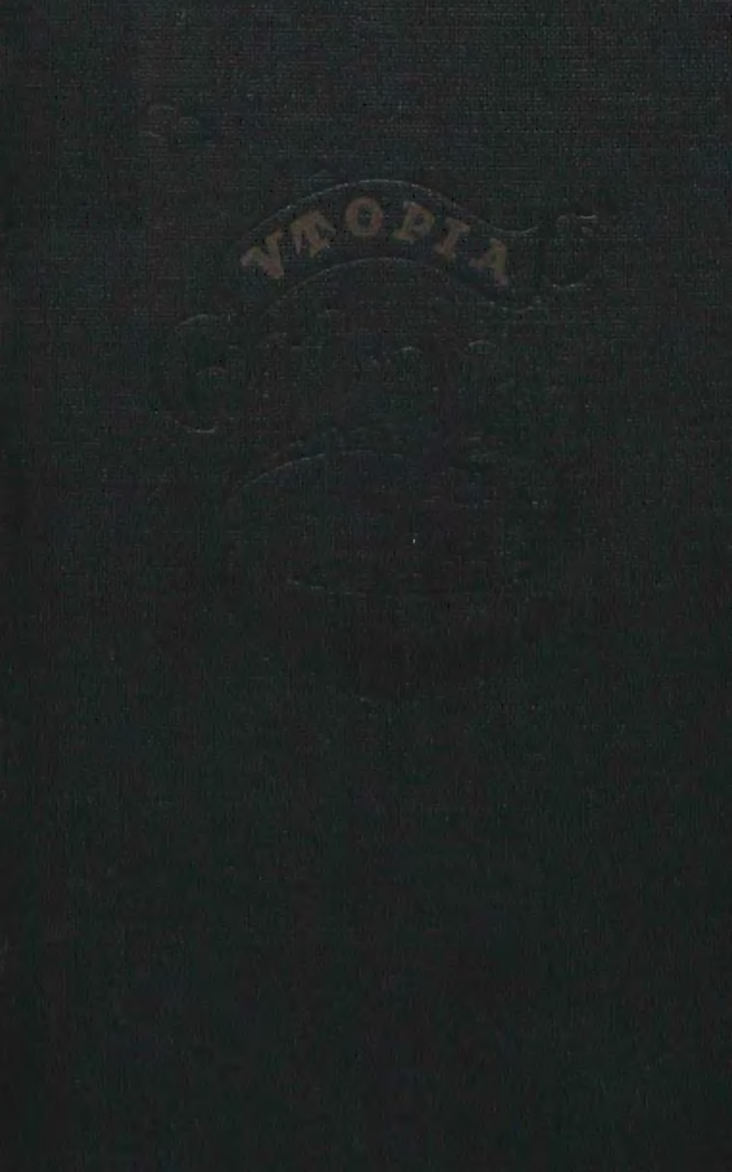

VTOPIA

ТОМАС
МОР
УТОПИЯ
ACADEMIA

Гуманист — и излюбленный человек лондонского купечества, лорд-канцлер английской монархии и автор первого коммунистического произведения нового времени, Т. Мор—один из интереснейших представителей сложного XVI века...

...Вплоть до великой французской революции XVIII века история социалистической мысли не может отметить ни одного произведения, равного «Утопии» по значению. Т. Мор должен быть с полным правом назван родоначальником и одним из величайших представителей утопического социализма...

...Мор ставит перед собой в «Утопии» задачу показать конкретно, как может быть организовано на началах равенства, без частной собственности, общественное производство. Эта задача и поставлена и разрешена Мором совершенно оригинально. В этой области у него нет учителей и предшественников...

...«Утопия» — книга, в которой впервые отчетливо формулирован ряд положений, характерных для современного социализма. В этом — источник ее неубывающей притягательной силы.

(Из предисловия В. Волгина. Историческое значение «Утопии».)

Цена Р. 5.50

ACADEMIA

СОЦИАЛЬНЫЕ УТОПИИ

Под общей редакцией
акад. В. П. Волгина

ТОМАС МОР

(1480—1535)

ACADEMIA
Москва — Ленинград

Z 35
237
810-93
429-3

ТОМАС МОР

ЗОЛОТАЯ КНИГА

СТОЛЬ ЖЕ ПОЛЕЗНАЯ, КАК ЗАБАВНАЯ, О НАИЛУЧШЕМ УСТРОЙСТВЕ ГОСУДАРСТВА И О НОВОМ ОСТРОВЕ УТОПИИ

Перевод и комментарии
А. И. Малеина
Предисловие В. П. Волгина

ACADEMIA
1935

LIBELLUS AUREUS NEC MINUS SOLUTARIC QUAM FESTIVUS DE OPTIMO REPUBLICAE STATU DE QUE NOVA INSULA UTOPIA
T. H. MORUS
1516

Гравюры на дереве
и рисунок переплета
М. В. Маторина

VTOPIA

Историческое значение „Утопии“

Гуманист и излюбленный человек лондонского купечества, лорд-канцлер Английской монархии и автор первого коммунистического произведения нового времени, Т. Мор — один из интереснейших представителей сложного XVI века.

В нем как бы концентрировались, составив своеобразное, неповторяемое единство, все противоречия его эпохи, эпохи рождающегося капитализма, буйно прорастающего сквозь толщу феодальных отношений и уже несущего в себе зачатки свойственных ему новых общественных антагонизмов.

Политическая и социальная литература знает мало произведений, которые имели бы такое длительное и глубокое влияние, как маленькая книжечка Т. Мора „De optima reipublicae statu“ *, широко известная под сокращенным наименованием „Утопия“. Не случайно это имя стало нарицательным для оп-

---

* „О наилучшем устройстве государства“.

ределенной литературной формы — утопического романа; не случайно с ним связано как со своим начальным пунктом целое направление общественной мысли, так называемый утопический социализм. Весьма вероятно, что сам Т. Мор, подводя итоги своему жизненному пути, придавал „Утопии" меньшее значение, чем своему канцлерству или своей борьбе за католическую веру. Четыреста лет спустя после трагической гибели Мора (он был казнен в 1535 г.) мы перечитываем „Утопию" с большим интересом, чем современники Мора; и мы интересуемся всеми другими сторонами его деятельности лишь постольку, поскольку он является автором этого замечательного диалога.

„Утопия" — книга, в которой впервые отчетливо формулирован ряд положений, характерных для современного социализма. В этом — источник ее неубывающей притягательной силы. Можно условно говорить об элементах социализма в древнем мире, разумея под этим коммунизм потребления, представление об общности благ на заре человеческого общества, неопределенную идею организации общественного производства и т. п. Но все это были намеки, разрозненные мысли, не связанные в единую систему. Мы должны учитывать их существование, исследуя возможные литературные источники „Утопии". Мор как гуманист хорошо знал Платона и других греческих авторов, отразивших в своих произведениях эти идеи. Воспользовавшись, несомненно, этими мотивами, Мор построил новое, всесторонне продуманное целое, которого не в состоянии была дать древняя рабовладельческая культура. Как законченная система взглядов социализм мог возникнуть лишь в новое время, на основе, созданной ростом капиталистических

отношений. И заслуга первого изложения этой системы принадлежит бесспорно Т. Мору.

Литературная форма „Утопии" роднит ее с поздним древнегреческим романом путешествий. Эта форма сохранила свою живучесть вплоть до XIX в. („Икария" Кабе). Но едва ли в какой-либо другой исторический момент отвечала она общественным вкусам в большей мере, чем в эпоху Мора: „Утопия" была написана в условиях начавшихся, но далеко еще не завершенных географических открытий XV—XVI вв. Как нельзя более она соответствовала также и тому уровню, на котором стоит социально-политическая мысль Мора в „Утопии".

„Коммунистический манифест" говорит по поводу великих утопистов начала XIX в.: „Фантастическое описание будущего общества является в свет в то время, когда пролетариат находится еще в неразвитом состоянии... оно возникает из его первого, полного предчувствия, порыва ко всеобщему преобразованию общества". Это — несомненно по отношению к мыслителям XIX в. По отношению ко времени Мора приходится говорить скорее о пред-пролетариате, чем о пролетариате в неразвитом состоянии; и вряд ли можно говорить даже о „предчувствии" в порыве ко всеобщему преобразованию общества. Т. Мор при всей его гениальности, конечно, не мог в окружающем его обществе прощупать зародыши той силы, которая одна только способна ликвидировать общественные противоречия, им подмеченные и вызывавшие его резкое осуждение. „Фантастическое описание" было, поэтому, единственным возможным в условиях его времени способом выражения его смелой социальной мысли. И поэтому оно нисколько не раздражает читателя, как раздражают подчас более поздние „утопии".

В фантастической форме Т. Мор излагает глубоко им продуманные мысли. Мы отметим здесь лишь наиболее существенные, наиболее характерные из них.

Первая часть „Утопии" содержит цитируемую почти во всех работах, посвященных Англии XVI в., характеристику обезземеления крестьян под влиянием развития овцеводства. Это — один из существенных моментов в процессе первоначального накопления. Он обращал на себя внимание многих современников Мора. Изложение Мора отличается, однако, от всех других, помимо чрезвычайной яркости изображения, одной чертой. Т. Мор не склонен ограничиваться анализом этого частного случая и изысканием частных мер борьбы с ним. От частного случая он подымается к той общей причине, которая лежит, по его мнению, в основе как данного зла, так и других общественных зол. Эта общая причина — господство частной собственности. Последние страницы первой части, содержащие рассуждение о частной собственности, составляют не только литературно, но и логически центральный пункт всей „Утопии". Они дают общий вывод из предшествующей критики общественного строя Англии и являются предпосылкой последующего изображения идеальных общественных порядков.

При частной собственности невозможно говорить ни о справедливости, ни об общественном благополучии. При частной собственности каждый стремится присвоить себе все, что может. Как бы ни было велико общественное богатство, оно попадает в руки немногих; остальным остается в удел одна нужда. Первые обычно — хищные и бесчестные люди; последние — люди скромные, простые, повседневным трудом приносящие пользу обществу, но не себе лично. Для установления справедливого порядка не-

обходимо полное уничтожение частной собственности. Все частные преобразования — паллиативы, неспособные исцелить общественные болезни. Строй „Утопии" противополагается строю европейских государств как строй без частной собственности. Само по себе такое противопоставление не является новым в социально-политической литературе; оно, как мы уже говорили, свойственно и ряду античных мыслителей. Но Мор ставит перед собой в „Утопии" задачу показать конкретно, как может быть организовано на началах равенства, без частной собственности, общественное производство. Эта задача и поставлена и разрешена Мором совершенно оригинально. В этой области у него нет учителей и предшественников.

Общество Утопии представляет некоторое хозяйственное единство. Верховный орган государства, сенат, ведет учет всему, что производится в отдельных районах и производит в случае надобности перераспределение продуктов. Вся земля Утопии составляет общее достояние. Государство передвигает рабочую силу из одной местности в другую. Государство же ведет внешнюю торговлю. Но непосредственным организатором производства является не государство в целом, а город; государство у Мора — как бы федерация городов.

Основная хозяйственная ячейка в Утопии — семья. Каждая семья занимается определенным ремеслом. Работа семьи находится под контролем должностных лиц государства; всю свою продукцию семья сдает государству. Таким образом, семья в существе представляет собою общественную мастерскую. К этому нужно прибавить еще, что эта семья не всегда натуральная семья, основанная на связях родства. Пожалуй, можно даже считать ее конститутивным при-

знаком не родственные узы, а хозяйственное единство. Дети, не желающие заниматься ремеслом семьи, переходят в другую в соответствии с избранной ими профессией. Родственники, следовательно, могут быть в разных семьях; в каждой семье занимаются одним ремеслом. Когда размеры семьи превышают хозяйственные потребности, государство перебрасывает граждан из одной семьи в другую.

Не трудно понять, как возникла в „Утопии" эта семейно-ремесленная организация производства. Ее реальным прототипом служит, несомненно, средневековое ремесло, ко времени Мора подвергшееся уже в весьма значительной степени перерождению под воздействием торгового капитала. Можно сказать, что Т. Мор в известном смысле реставрирует этот ремесленный строй, очищая его от позднейших наращений. Само собою разумеется, что при этом получается не точная историческая реставрация, а реставрация идеализированная в согласии с общей установкой автора. Но все же сквозь эти черты идеализации нетрудно разглядеть оригинал.

Семейно-ремесленная система покрывает собою, за малыми исключениями, все утопическое общество. Как гражданин связан с семьей, так связан он и с ремеслом. Каждый гражданин изучает какое-либо ремесло; ремесло составляет его основное занятие в течение почти всей трудовой его жизни. Характерно для Мора, что сельское хозяйство не является в Утопии одним из ремесел. Это одна из самых интересных особенностей утопийского строя. Земледелию придают в Утопии большое значение. Но сельско-хозяйственные работы организованы по принципу трудовой повинности. Каждый обязан провести на сельско-хозяйственных работах два года и затем возвращается

к своему постоянному, основному занятию — ремеслу. В связи с этим Утопия не знает деревни в настоящем смысле слова. В ней есть лишь сельско-хозяйственные фермы, куда приходят из города на срок работ и откуда возвращаются в город по истечении этого срока. Основное место жительства всех граждан и организационный центр всех работ — город, к которому прикреплена известная территория, используемая им для сельско-хозяйственных работ. Таким образом, противоположность между городом и деревней устраняется, хотя и очень примитивным способом, уже в первом социалистическом произведении нового времени.

Все произведенное как в ремесле, так и в сельском хозяйстве составляет достояние всего общества. Граждане получают то, что им необходимо, в общественных складах или на общественных рынках. В различных позднейших утопиях мы находим различные формы распределения продуктов между гражданами: одни устанавливают нормы арифметического равенства, другие — принцип вознаграждения по заслугам, третьи — распределение по потребностям. Т. Мор вводит в Утопии последнюю форму, наиболее последовательную. Каждый отец получает от общества столько продуктов, сколько ему нужно, ему никогда ни в чем не отказывают. Т. Мор уже понимает, что предпосылкой такого распределения „по потребности“ является изобилие продуктов, при котором „не приходится бояться, что кто-либо возьмет лишнее“. Но он уверен, что такое изобилие в Утопии гарантировано.

Наши представления о переходе общества на высшую стадию коммунизма связаны с ростом производительности труда. „Лишь тогда, когда вместе со всесторонним развитием личности вырастут и произ-

водственные силы и все родники общественного богатства изобильно потекут,— лишь тогда узкий буржуазный правовой кругозор будет совершенно покинут, и общество напишет на своем знамени: с каждого по его способностям, каждому по его потребностям". Мысль о возможности быстрого роста производительных сил чужда Т. Мору. На рубеже XV и XVI вв., когда жил Мор, значение в хозяйственной жизни технического прогресса сказывалось весьма слабо. В „Утопии" мы не находим указаний на какие-либо резкие отличия технической базы утопийского общества. И тем не менее Мор твердо верит в возможность обеспечения изобилия при ограниченном до 6 часов рабочем дне.

Это изобилие при тех же технических средствах Мор обосновывает полным отсутствием паразитизма в „Утопии". В своей характеристике социального паразитизма и его значения Мор является прямым предшественником Фурье, в теории которого проблема паразитизма занимает, как известно, большое место. Нет никакого сомнения в том, что Фурье в этом вопросе развивает, применительно к условиям XIX века, основные положения „Утопии". Мор считает паразитами лордов и высшее дворянство, священников, прислугу, нищих. К этому же разряду он относит всех, кто занят в производстве предметов роскоши, и женщин, рабочая сила которых используется совершенно не рационально или вовсе не используется. В Утопии от физического труда свободны лишь две категории граждан: лица, отправляющие общественные функции в течение срока своего общественного служения, и люди научного труда.

Отсутствие идеи технического прогресса до чрезвычайности затрудняет разрешение проблемы так

называемого „неприятного“ труда. Почти для всех утопистов — вплоть до XIX века — эта проблема составляет поэтому камень преткновения. В ее разрешении возможны два пути. Один — нахождение какой-то группы граждан, у коей предполагаются особые стимулы к тому, чтобы брать на себя именно такого рода работы. У Фурье, например, склонностью к ним обладают дети, которых он и организует для работ, отталкивающих взрослых. Второй путь — организация в той или иной форме принудительного труда. Т. Мор использует для разрешения проблемы оба способа. В Утопии имеются люди, которые берут на себя неприятные работы из религиозных мотивов, как особый вид служения обществу. Но этого недостаточно. И вот в „Утопии“ появляется особая социальная категория, идущая, несомненно, в разрез с общими установками социалистической теории, но с точки зрения Мора не только необходимая в его идеальном обществе, но и представляющая для него шаг вперед по сравнению с окружающими его социальными условиями. Эта категория — так называемые рабы (Servi). По существу утопийские „рабы“ — люди, приговоренные к пожизненным принудительным работам. Происхождение их двояко — плен или судебный приговор. Надо отметить, что в Утопии этой каре подвергаются, по словам Мора, те, кто в других странах был бы осужден на смертную казнь. Мало того, что утопийцы сами не применяют к своим свободным гражданам смертной казни,— они выкупают людей, приговоренных к смертной казни в соседних государствах. Становится, таким образом, понятным, почему утопийское „рабство“ расценивается Т. Мором как факт положительный: оно противопоставлено

жестокости судебных приговоров современной ему Англии.

У предшественников Мора общность понимается как общность предметов потребления. В концепции Мора в центре внимания стоит, как мы видели, общность производства. Т. Мор, конечно, не противник общественной организации потребления; наоборот, он явно отдает ей предпочтение. Однако в этом вопросе он проявляет большую терпимость и большой реализм. Очевидно, он понимает, что основное в общественных отношениях определяется организацией производства, а не организацией потребления. Поэтому мы видим в Утопии общественные столовые, которыми пользуется подавляющее большинство граждан. Но семьи, желающие организовать питание самостоятельно, имеют полную возможность это сделать, получив все нужные продукты на общественных рынках. Индивидуализм кухни и столовой не представляется опасным и потому допускается Мором. В большей степени способно расшатывать общественные устои индивидуалистическое отношение к жилищу и земельному участку. Здесь могут, действительно, развиться опасные для общности навыки. Поэтому Мор устанавливает в „Утопии" происходящее каждые десять лет обязательное перераспределение домов и садов по жребию. Так решение конкретных вопросов подчинено у Мора высшему общественному интересу — сохранению основных принципов утопийского общественного строя.

Т. Мор занимает исключительное место в истории социализма, как мыслитель, оставивший последующим поколениям первую всесторонне продуманную схему социалистического общества,— как бы много мы ни находили в этой схеме черт, отражающих

тот недостаточно еще высокий уровень хозяйственного развития, на каком стояла Англия XV—XVI веков. Не меньшее значение имеет, однако, и другая сторона „Утопии"—метод обоснования социалистических принципов. В течение второй половины средних веков мы знаем ряд социальных движений, имевших на своем знамени „общность" имуществ. Все эти движения имели достаточно ярко выраженную религиозную окраску. Общность пропагандировалась их адептами как „закон божий", а частная собственность осуждалась как нарушение закона, как „грех". Т. Мор первый освободил общность от религиозной оболочки, первый обосновал ее рационалистически. Строй Утопии он считает наилучшим, потому что он наиболее разумен и целесообразен с точки зрения земных интересов людей. Люди назначены богом для жизни, сообразной законам природы. Влечениям природы надлежит поэтому следовать, проверяя разумом к чему надо стремиться и чего избегать, дабы меньшее удовольствие не помешало большему. Душа человеческая рождена для счастья. Безумно гоняться за суровой добродетелью и отстранять сладость жизни. Природа предписывает нам приятную жизнь, т. е. наслаждение как конечную цель всех наших действий; добродетель — жизнь согласная с велениями природы. Но для лучшего устройства счастливой жизни разум и природа призывают смертных к взаимной поддержке. Поэтому люди должны стремиться к своей выгоде постольку, поскольку это не причиняет невыгоды другим. На этих здоровых началах построена общественная мораль и общественные законы о распределении благ у утопийцев. Естественно, что нигде нет такого превосходного народа и более счастливого государства.

Т. Мор уделяет не мало внимания религии утопийцев. Но это — религия рационализированная, очищенная от всего, что представлялось излишним разуму гуманиста шестнадцатого века. Крайне интересно, что Томас Мор вводит в „Утопию“ даже такую, особенно еретическую в условиях начинающейся реформации систему, как система выборности священников. В общем можно сказать, что религия в „Утопии“ освящает то, что признано достойным освящения рациональной гуманистической моралью и политикой. Все, что выходит за эти пределы, либо представляется частным делом гражданина, если не вредит обществу, либо, в противоположном случае, преследуется не как ересь, но как уклонение от здоровых принципов общественной морали. Именно по этой причине встречают всеобщее осуждение в Утопии те, кто не верит вовсе в провидение и бессмертие души: таким людям не оказывается общественного доверия, ибо они лишены мощных стимулов к верности общественному порядку.

Рационалистическая аргументация Мора отражает пройденный этап в развитии социалистической мысли. Но значение утопического социализма стоит в обратном отношении к историческому развитию. Рационализм в утопических системах XIX века (у анархистов он сохранился до XX в.) явление глубоко реакционное. На рубеже XV и XVI веков рационализм означал освобождение общественной мысли от религиозного тумана. Жизнеутверждающая мораль Мора, его призыв к здоровым природным влечениям человека, даже его утилитаризм, имели в его эпоху громадное революционное значение. Несмотря на все уступки старому, несмотря на характерное для него, как и для большинства гуманистов, стремление найти

компромисс между религией и разумом, Мор должен занять почетное место в рядах борцов за новое, светлое миросозерцание.

Как могло возникнуть в начале XVI века это изумительное произведение? Под какими социальными влияниями оно сложилось? — Т. Мор был, даже для гуманиста, человеком исключительно широкого умственного кругозора. Прекрасное классическое образование он соединил с большим практическим опытом и с исключительной восприимчивостью к явлениям окружающей его социальной жизни. Самое сильное из таких социальных впечатлений он фиксировал сам с большой литературной силой в первой части „Утопии". Это было впечатление от аграрного переворота, от обезземеления крестьян. В самой крестьянской массе этой эпохи мы имеем возможность констатировать лишь глухое социальное брожение, не освещенное каким-либо четким общественным идеалом. Конечно, это может быть отнесено и за счет недостаточности имеющегося в нашем распоряжении материала. Социальные чаяния низов не всегда находят свое выражение в формах, доступных историку. Лишь в эпоху великой английской революции, полтораста лет спустя, мы можем отметить в английской деревне движение, проходящее под коммунистическими лозунгами — так называемое движение диггеров. Величайшая заслуга Мора состоит в том, что под воздействием глухих толчков, исходивших от обездоленной деревни, он сумел, используя свое гуманистическое образование, построить социальную схему, стоящую на уровне, несравненно более высоком, чем уровень социального сознания самого обезземеленного крестьянства.

Если основным стимулом к созданию „Утопии"

были страдания масс, вызванные процессом первоначального накопления в его деревенском аспекте, то в построении утопийских порядков несомненно доминирует влияние настроений городского ремесленичества. Отсюда семейно-ремесленный характер хозяйственной ячейки в „Утопии", отсюда ее специфически городской уклад, своеобразная организация земледелия как временной повинности городского в основном населения и т. п. Эти черты „Утопии" совершенно естественны. История отмечает немало фактов, свидетельствующих о связи гуманистических кругов с культурными представителями ремесленного слоя. Сам Мор, принадлежавший к искони городской семье, конечно, должен был условия городской жизни оценивать несравненно выше деревенской отсталости. Но городской строй также подвергался уже в его эпоху радикальному перерождению под воздействием растущих торгово-капиталистических отношений, хотя, быть может, в формах, не таких резких и тяжелых, как деревня. Не удивительно, что в „Утопии" Мор вводит идеализированный городской строй старого времени, строй, о возвращении к которому мечтали страдавшие от капиталистического развития ремесленники его эпохи.

„Утопия" дает таким образом синтез идеологических тенденций двух общественных групп, из которых складывался современный пролетариат. Гуманистическая интеллигенция, представителем которой был Мор, исторически связана с зарождающимися буржуазными общественными отношениями. Т. Мор, в силу исключительного сочетания объективных воздействий и субъективных данных,— сумел на заре буржуазного общества, наблюдая его первые шаги к господству, не только отнестись критически к его

принципам, но и противопоставить им принципы социального равенства и общности. Вплоть до великой французской революции XVIII века история социалистической мысли не может отметить ни одного произведения, равного „Утопии“ по значению. Т. Мор должен быть с полным правом назван родоначальником и одним из величайших представителей утопического социализма.

В. Волгин

Главнейшие издания и переводы „Утопии“

Рукописного оригинала „Утопии“ не сохранилось. Первое печатное издание ее появилось в 1516 году, в бельгийском городе Лувене, где в то время находился друг Мора, Эразм Роттердамский. Главный надзор за изданием, кроме него, имел Петр Эгидий, письмо к которому помещено перед текстом „Утопии“. На заглавном листе книжки сказано было, что она издана „весьма тщательно“. Но это была только обычная типографская реклама. Текст изобилует опечатками и разного рода ошибками в латинском языке. Мор великолепно знал его. Поэтому некоторые неправильности прямо поражают. Так, на стр. 101 (по изданию Лептона) имеется фраза, где подлежащее существительное стоит в женском роде (oratio), а относящееся к нему сказуемое прилагательное — в мужеском роде (iucundus). Для Мора, в совершенстве знавшего латинский язык, такое согласование абсолютно недопустимо. Отсюда возможно не лишенное остроумия предположение, что первоначальный текст был продиктован. Подобная предосторожность, равно как и печатание в другом городе, скорее всего могут быть объяснены цензурными опасениями. Первое издание „Утопии“ принадлежит к числу ред-

чайших книг. Даже на Западе оно известно в четырех экземплярах. В СССР оно имеется в библиотеке Института Маркса — Энгельса — Ленина. Мне текст этого издания был доступен по перепечатке Михельса (ср. ниже).

Интерес, возбужденный книгой, в связи с неудовлетворительностью первого издания вызвал перепечатку его в Париже в 1517 году — у книгопродавца Жиль де-Гурмон (Gilles de Gourmont). Это издание (B) печаталось также без всякого участия автора и имеет еще больше опечаток, чем первое. Оно сделано по первому изданию (A), но представляет целый ряд интересных вариантов. Отметим из них два места, где заметна тенденция подчеркнуть рознь между правителями и народной массой. Именно, на странице 193 (по изданию Лептона) только в тексте B имеется сочетание — „народ, *угнетенный* тиранией", тогда как в других изданиях смысл текста не такой резкий. Точно так же на странице 303 (Лептон) к словам: богатые „эксплоатируют их" (бедных) одно лишь издание B дает прибавку: „как вьючный скот". Изданием B, также очень редким, я пользовался по экземпляру Государственной публичной библиотеки в Ленинграде.

Крайняя неисправность первых двух изданий заставила Эразма обратиться в Базель к обычному издателю его собственных произведений, солидному типографу Фробену. Он выпустил в течение одного (1518) года два издания „Утопии" (в марте и ноябре). Эти издания, особенно второе, дают текст значительно более исправный, чем ранее. 1 марта 1517 года Эразм писал Мору из Антверпена: „Пришли сюда возможно скорее твою „Утопию" пересмотренную". Мор исполнил это желание друга, так как в конце мая 1517 года тот же Эразм писал ему: „Твои эпиграммы и „Утопию" я послал в Базель". Отсюда можно заключить, что издание 1518 года (C) печаталось по тексту A, просмотренному Мором. Это, конечно, придает ему особую ценность. Но тем не менее и C в обеих версиях имеет изрядное количество опечаток. Изданием C я пользовался по экземплярам библиотеки Всесоюзной академии наук (ноябрьское) и Института

книги, документа, письма (мартовское). Остальные издания „Утопии" вышли уже после смерти Мора и потому не имеют значения для восстановления текста *. Правда, корректоры удачно исправляли иногда отдельные опечатки, но прибавляли к ним и новые; таков, например, текст „Утопии" в собрании латинских сочинений Мора 1565 года (восходит к В) и всех сочинений 1689 года (восходят к В и С).

В новое время на основании А построил свое издание текста Виктор Михельс (Michels) в серии „Латинские литературные памятники XV и XVI столетий" (Берлин, Вейдман, 1895), в сотрудничестве с известным педагогом Теобальдом Циглером (Ziegler). Кроме рабской перепечатки А, со всеми его недостатками, Михельс приложил главнейшие варианты В и С, но сделал это достаточно небрежно, особенно в отношении В.

В том же 1895 году появилось издание Лептона (Lupton), построенное на основании С (мартовская версия) и снабженное хорошим комментарием **. Так как более новые издания текста „Утопии" были мне недоступны, то я взял за основу это издание, исправив его опечатки и проверяя его по А (по Михельсу), В и С (ноябрьская версия). Ввиду популярного назначения настоящей работы, отступления от текста и исправления его указаны только в редких важнейших случаях. Имеющиеся на полях А, В, С замечания опущены, за исключением немногих, наиболее существенных.

Обращаюсь к переводам, из которых назову только те, которые известны мне непосредственно. Такова

---

* В течение XVI столетия книга выдержала, кроме указанных, четыре издания в оригинале и была переведена на языки: немецкий (1524), итальянский (1548), французский (два издания: 1550 и 1559), английский (два издания: 1551 и 1556) и голландский (1562).

** „The Utopia of sir Thomas More in Latin from the edition of March 1518 and in English from the first edition of Ralph Robynson's translation in 1551 with additional translations. introduction and notes by J. H. Lupton..." Oxford, MDCCC, XCV.

прежде всего классическая английская работа Ральфа Робинзона (Ralph Robynson), появившаяся первым изданием в 1551 году и потом бесчисленное количество раз печатавшаяся. Перевод этот очень точен и близок к подлиннику. Язык его в Англии считается образцовым и потому изучается и комментируется, как какое-нибудь классическое произведение. Перевод Робинзона приложен к названному выше изданию Лептона.

Из французских переводов назову прежде всего труд Гюёдевилля (Gueudeville), представляющий не столько перевод, сколько пересказ „Утопии", местами значительно расширенный. Главную особенность этого перевода составляют приложенные к нему гравюры, единственная, насколько мне известно, попытка иллюстрировать „Утопию", если не считать нескольких рисунков Ганса Гольбейна в издании С. Из этих гравюр особенно интересны приложенные к настоящему изданию изображение коммунальной столовой утопийцев (стр. 112) и рисунок осмотра женихом и невестой друг друга (стр. 160). Перевод этот вышел в Лейдене в 1715 году. Имеется в Институте книги, документа, письма.

Другая французская работа принадлежит Томасу Руссо, архивисту клуба якобинцев. Второе издание ее вышло как раз в год Великой революции (1789). Этот перевод также очень далек от оригинала и расширяет его, хотя не в такой мере, как Гюёдевилль. Тем не менее перевод Руссо стал во Франции как бы вульгатой и был перепечатан еще в 1888 году. Из немецких переводов печальную известность приобрел труд Коте (Kothe), изданный известной фирмой „Реклама" в 1846 году и потом перепечатанный в ее серии „Универсальная библиотека". В своей книге о Томасе Море (стр. 258 немецкого оригинала) Каутский неопровержимо доказал, что Коте работал не по оригиналу, а по какому-то плохому французскому переводу, который в свою очередь был сделан не по подлиннику, а по английскому переводу Бернета. В результате получилась, конечно, никуда не годная работа.

Обратимся, наконец, к русским трудам. Одним

из первых познакомил русских читателей с Мором „трудолюбный филолог" В. К. Тредьяковский. Выясняемый теперь акад. А. С. Орловым политический облик этого писателя показывает, что он далеко не был тем льстецом-монархистом, каким его изображают обыкновенно, но умел искусно обнаружить свое оппозиционное настроение в выборе тех произведений, которые ему приходилось переводить. В одиннадцатом томе „Римской истории" Ролленя, в „Предуведомлении от трудившегося в переводе", автор передает стихами одно произведение „Фомы Мория Англичанина..." „сего славного и мудрого человека".

Что касается собственно „Утопии", то первые два перевода ее относятся к концу XVIII столетия. Приводим их точное заглавие*: 1) Картина всевозможно лучшего правления, или Утопия. Сочинения Томаса Мориса Канцлера Аглинского, в двух книгах. Переведена с Аглинского на Французский Г. Руссо, а с Французского на Российский. С дозволения Управы Благочиния. В Санкт-Петербурге, на иждивении И. К. Шнора. 1789 года. Стр. 210. 2) Философа Рафаила Гитлоде странствование в новом свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии. Перевод с Аглинского языка, сочинение Томаса Мориса. Цена без переплета 1 руб. В Санктпетербурге. С дозволения Управы Благочиния. На иждивении И. К. Шнора. 1790 года. Стр. 210.

Несмотря на эту разницу в заглавиях, оба перевода вполне тожественны. Упомянутый в заглавии первого перевода Руссо — тот самый, который был указан выше. Недостатки этого перевода были указаны уже в современном его появлению „Московском

---

* Ср. заметку Н. Д. Чечулина „О русском переводе „Утопии" Томаса Мура (sic), сделанном в XVIII столетии", „Журнал министерства народного просвещения", 1905, кн. 5, стр. 223—224. У Чечулина оба заглавия, особенно первое, приведены не вполне точно.

журнале", издававшемся Н. М. Карамзиным, за 1791 год, ч. I; второе издание (1801), стр. 361—371. Выписав заглавие книги (в версии „Философа Рафаила Гитлоде" и т. д., см. выше), рецензент излагает кратко биографию „Моруса", затем передает довольно подробно содержание книги, в заключение признает „сей политический роман весьма темным в русском переводе", приводит в доказательство этого несколько выписок и заканчивает так: „Многие галлицизмы в слоге доказывают, что книга сия переведена не с английского, а с французского языка". (Замечание совершенно правильное, так как в основе лежит перевод Руссо.) „*Магистраты* идут у г. переводчика вместо судей, *случайные* игры вместо азартных и пр. и пр. Видно, что он еще во французском языке не очень силен; да и в русском тоже".

Затем мне не удалось найти никаких сведений о переводах „Утопии" вплоть до начала XX века*.

В 1901 году перевод „Утопии" дал Е. В. Тарле в приложении к своей магистерской диссертации „Общественные воззрения Томаса Мора в связи с экономическим состоянием Англии его времени" (Спб. 1901). Перевод этот, видимо, был сделан наспех и в общем вышел мало удачным. Оценка его дана в статье В. В. Водовозова „Новое исследование по социальной истории Англии" („Народное хозяйство", 1901, кн. 10, стр. 161—176). С рецензентом можно не согласиться только в его утверждении, будто проф. Тарле переводил не с латинского, а с немецкого. Работа, несомненно, исполнена по латинскому оригиналу, но в некоторых затруднительных

---

* В романе Г. П. Данилевского „Девятый вал", опубликованном в 1874 году, упоминается (по изданию „Нивы", Спб. 1901, т. V, стр. 183) книга „Остров Утопия Томаса Мора". Но справки в библиографических пособиях и каталогах больших библиотек не подтвердили реальности существования подобного издания. С другой стороны, допустить, что автор имел в виду какую-либо иностранную работу, невозможно, так как по роману книга принадлежала лицу, незнакомому с иностранными языками.

случаях Е. В. Тарле пользовался упомянутым немецким переводом Коте, который его и подвел.

Последним по времени русским переводом „Утопии" является работа А. Г. Генкеля: „Томас Мор. Утопия (De optimo rei publici [sic!] statu, deque nova Insula Utopia libri duo illustris viri Thomae Mori, regni Britanniarum cancellarii). Перевод с латинского *А. Г. Генкель* при участии *Н. А. Макшеевой*. С биографическим очерком Т. Мора, составленным Н. А. Макшеевой (с портретом Т. Мора), Спб. 1903". Перевод этот получил у нас значение вульгаты и переиздавался неоднократно даже после Октябрьской революции. Так, третье издание его вышло в 1918 году в Петрограде, как „Издание Петроградского совета рабочих и красноармейских депутатов", а четвертое — в Харькове (1923), в издательстве „Пролетарий", причем на каждом из них стоит: „исправленное и дополненное", чего на самом деле не было. Рекламный характер этой прибавки особенно выступает в харьковском издании, где на стр. 4 стоит: „Настоящее издание является перепечаткой без перемен второго издания".

Перевод А. Г. Генкеля подкупает своим стилем. Написанный легко и живо, он производит полное впечатление оригинального произведения нового времени. Но это, к сожалению, его единственное достоинство.

Еще в 1905 году* работа эта была правильно оценена покойным киевским профессором А. И. Сонни. Рецензент неопровержимо доказал, что Генкель перевел „Утопию" как раз с перевода Коте, недоброкачественность которого была доказана. Чтобы не быть чересчур голословным, позволю себе привести один пример:

---

* „Журнал министерства народного просвещения", 1905, кн. 4, стр. 379—393.

Текст (*Лептон*, стр. 149)	Перевод
Quin frequenter etiam quae domus alii ingenti sumptu stetit, hanc alius delicato animo contemnit: eaque neglecta atque ideo brevi collapsa, aliam alibi impensis non minoribus extruit.	Мало того, часто человек с избалованным вкусом пренебрегает домом, стоившим другому огромных издержек; а когда этот дом, оставленный без ремонта, в короткое время разваливается, то владелец строит себе в другом месте другой с неменьшими затратами.
Kome, стр. 70	*Генкель*, стр. 92
Oft findet man sogar, dass ein ausstudierter Priester des Luxus sich der vaterlichen Bauten schämt und mit noch grosseren Kosten auf einem andern Terrain neue Gebäude aufführt, während das Haus seines Vaters zur Ruine verfällt.	Иногда случается даже, что ученый или священник, стыдясь роскоши отцовских построек, еще с большими затратами воздвигает новое здание, между тем как старое обращается в развалины.

И подобные перлы встречаются почти на каждой странице! *

Таким образом, до сих пор еще у нас не было удовлетворительного перевода „Утопии". Между тем появление его представляется вполне уместным и своевременным ввиду исполняющегося в 1935 году четырехсотлетия со дня смерти автора.

---

* См. указанную выше рецензию проф. Сонни.

В своем переводе я прежде всего стремился к правильной и точной передаче мыслей оригинала, насколько это допускает русский язык. Может быть, в силу этого стремления я в ряде мест попал в чересчур большую зависимость от чуждой нашему стилю латинской конструкции оригинала, чего впрочем, всегда стремился избежать. Особенно трудно было преодолеть огромные периоды оригинала. Отказаться же от них окончательно я не мог, так как тогда пропал бы весь величавый колорит подлинника.

В примечаниях я старался объяснить, по возможности, все, что может затруднить понимание Мора для читателя. Все ссылки на известную книгу Каутского „Томас Мор и его Утопия" сделаны по немецкому оригиналу (Штутгарт 1888) ввиду ненадежности русского перевода ее, сделанного тем же А. Г. Генкелем.

В заключение я должен поблагодарить академиков В. П. Волгина и А. С. Орлова, а также С. А. Аннинского, указавших мне некоторые стилистические недочеты перевода. Особенно много труда приложил к настоящей работе С. А. Аннинский, который не потяготился сверить весь текст ее с латинским оригиналом и при этом сделал массу ценных замечаний, сильно улучшивших перевод не только с точки зрения его удобочитаемости, но и близости к оригиналу.

А. Малеин

УТОПИЯ

ТОМАС МОР ШЛЕТ ПРИВЕТ ПЕТРУ ЭГИДИЮ

Дорогой Петр Эгидий [1], мне, пожалуй, и стыдно посылать тебе чуть не спустя год эту книжку о государстве утопийцев, так как ты, без сомнения, ожидал ее через полтора месяца, зная, что я избавлен в этой работе от труда придумывания; с другой стороны, мне нисколько не надо было размышлять над планом, а надлежало только передать тот рассказ Рафаила, который я слышал вместе с тобою. У меня не было причин и трудиться над красноречивым изложением — речь рассказчика не могла быть

изысканной, так как велась экспромтом, без приготовления; затем, как тебе известно, эта речь исходила от человека, который не столь сведущ в латинском языке, сколько в греческом, и чем больше моя передача подходила бы к его небрежной простоте, тем она должна была бы быть ближе к истине, а о ней только одной я в данной работе должен заботиться и забочусь.

Признаюсь, друг Петр, этот уже готовый материал почти совсем избавил меня от труда, ибо обдумывание материала и его планировка потребовали бы немалого таланта, некоторой доли учености и известного количества времени и усердия; а если бы понадобилось изложить предмет не только правдиво, но также и красноречиво, то для выполнения этого у меня не хватило бы никакого времени, никакого усердия. Теперь, когда исчезли эти заботы, из-за которых пришлось столько попотеть, мне оставалось только одно — просто записать слышанное, а это было уже делом совсем нетрудным; но все же для выполнения этого „совсем нетрудного дела" прочие дела мои оставляли мне обычно менее чем ничтожное количество времени. Постоянно приходится мне то возиться с судебными процессами (одни я веду, другие слушаю, третьи заканчиваю в качестве посредника, четвертые прекращаю на правах судьи), то посещать одних людей по чувству долга, других — по делам. И вот, пожертвовав вне дома другим почти весь день, я остаток его отдаю своим близким, а себе, то-есть литературе, не оставляю ничего.

Действительно, по возвращении к себе надо поговорить с женою, поболтать с детьми, потолковать со слугами. Все это я считаю делами, раз это необходимо выполнить (если не хочешь быть чужим у себя в доме). Вообще надо стараться быть возможно приятным по отношению к тем, кто дан тебе в спутники жизни или по предусмотрительности природы, или по игре случая, или по твоему выбору, только не следует портить их ласковостью или по снисходительности из слуг делать господ. Среди перечисленного мною уходят дни, месяцы, годы. Когда же тут писать? А между тем я ничего не говорил о сне, равно как и обеде, который поглощает у многих не меньше времени, чем самый сон, а он поглощает почти половину жизни. Я же выгадываю себе только то время, которое краду у сна и еды; конечно, его мало, но все же оно представляет нечто, поэтому я хоть и медленно, но все же напоследок закончил „Утопию“ и переслал тебе, друг Петр, чтобы ты прочел ее и напомнил, если что ускользнуло от меня. Правда, в этом отношении я чувствую за собою известную уверенность и хотел бы даже обладать умом и ученостью в такой же степени, насколько владею своей памятью, но все же не настолько полагаюсь на себя, чтобы думать, что я не мог ничего забыть.

Именно, мой питомец Иоанн Клемент[2], который, как тебе известно, был вместе с нами (я охотно позволяю ему присутствовать при всяком разговоре, от которого может быть для него какая-либо польза, так как ожидаю со временем

прекрасных плодов от той травы, которая начала зеленеть от его греческих и латинских занятий), привел меня в сильное смущение. Насколько я припоминаю, Гитлодей[3] рассказывал, что Амауротский мост, который перекинут через реку Анидр[4], имеет в длину пятьсот шагов, а мой Иоанн говорит, что надо убавить двести; ширина реки, по его словам, не превышает трехсот шагов. Прошу тебя порыться в своей памяти. Если ты одних с ним мыслей, то соглашусь и я и признаю свою ошибку. Если же ты сам не припоминаешь, то я оставлю, как написал, именно то, что, по-моему, я помню сам. Конечно, я приложу все старание к тому, чтобы в моей книге не было никакого обмана, но, с другой стороны, в сомнительных случаях я скорее скажу ложь, чем допущу ее[5], так как предпочитаю быть лучше честным человеком, чем благоразумным.

Впрочем, этому горю легко будет помочь, если ты об этом разузнаешь у самого Рафаила или лично, или письменно, а это необходимо сделать также и по другому затруднению, которое возникло у нас, не знаю по чьей вине: по моей ли скорее или по твоей, или по вине самого Рафаила. Именно, ни нам не пришло в голову спросить, ни ему — сказать, в какой части Нового Света расположена Утопия. Я готов был бы, разумеется, искупить это упущение изрядной суммой денег из собственных средств. Ведь мне довольно стыдно, с одной стороны, не знать, в каком море находится остров, о котором я так много распространяюсь, а с другой стороны, у нас находится несколько лиц, а в особенности

одно[6], человек благочестивый и по специальности богослов, который горит изумительным стремлением посетить Утопию не из пустого желания или любопытства посмотреть на новое, а подбодрить и умножить нашу религию, удачно там начавшуюся. Для надлежащего выполнения этого он решил предварительно принять меры к тому, чтобы его послал туда папа, и даже чтобы его избрали в епископы утопийцам; его нисколько не затрудняет то, что этого сана ему приходится добиваться просьбами. Он считает священным такое домогательство, которое порождено не расчетами почета или выгоды, а соображениями благочестия.

Поэтому прошу тебя, друг Петр, обратиться к Гитлодею или лично, если ты можешь это удобно сделать, или списаться заочно, и принять меры к тому, чтобы в настоящем моем сочинении не было никакого обмана или не было пропущено ничего верного. И едва ли не лучше показать ему самую книгу. Ведь никто другой не может наравне с ним исправить какие там есть ошибки, да и сам он не в силах исполнить это, если не прочтет до конца написанного мною. Сверх того таким путем ты можешь понять, мирится ли он с тем, что это сочинение написано мною, или принимает это неохотно. Ведь если он решил сам описать свои странствия, то, вероятно, не захотел бы, чтобы это сделал я: во всяком случае я не желал бы своей публикацией о государстве утопийцев предвосхитить у его истории цвет и прелесть новизны.

Впрочем, говоря по правде, я и сам еще не

решил вполне, буду ли я вообще издавать книгу. Вкусы людей весьма разнообразны, характеры капризны, природа их в высшей степени неблагодарна, суждения доходят до полной нелепости. Поэтому несколько счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живет в свое удовольствие [7], чем те, кто терзает себя заботами об издании чего-нибудь, могущего принести пользу или удовольствие, тогда как у других это вызовет отвращение или неблагодарность. Огромное большинство не знает литературы, многие презирают ее. Невежда отбрасывает, как грубость, все то, что не вполне невежественно; полузнайки отвергают, как пошлость, все то, что не изобилует стародавними словами; некоторым нравится только ветошь, большинству только свое собственное. Один настолько угрюм, что не допускает шуток; другой настолько неостроумен, что не переносит остроумия; некоторые настолько лишены насмешливости, что боятся всякого намека на нее, как укушенный бешеной собакой страшится воды; иные до такой степени непостоянны, что сидя одобряют одно, а стоя — другое. Одни сидят в трактирах и судят о талантах писателей за стаканами вина, порицая с большим авторитетом все, что им угодно, и продергивая каждого за его писание, как за волосы, а сами меж тем находятся в безопасности и, как говорится в греческой поговорке, вне обстрела [8]. Они настолько гладки и выбриты со всех сторон, что у них нет ни одного волоска честного человека [9], за который можно было бы ухватиться. Кроме того есть люди настолько неблагодарные, что

и после сильного наслаждения литературным произведением они все же не питают никакой особой любви к автору. Они вполне напоминают этим тех невежливых гостей, которые, получив в изобилии богатый обед, наконец сытые уходят домой, не принеся никакой благодарности пригласившему их. Вот и затевай теперь на свой счет пиршество для людей столь нежного вкуса, столь разнообразных настроений, и кроме того для столь памятливых и благодарных.

А все же, друг Петр, ты устрой с Гитлодеем то, о чем я говорил. После, однако, у меня будет полная свобода принять по этому поводу новое решение. Впрочем, покончив с трудом писания, я, по пословице, поздно хватился за ум; поэтому, если это согласуется с желанием Гитлодея, я в дальнейшем последую касательно издания совету друзей и прежде всего твоему. Прощайте, милейший Петр Эгидий и твоя прекрасная супруга, люби меня попрежнему, я же люблю тебя еще больше прежнего.

Первая книга беседы,
которую вел выдающийся муж,
Рафаил Гитлодей,
о наилучшем состоянии государства,
в передаче знаменитого мужа,
Томаса Мора,
гражданина и виконта
славного британского города
Лондона

У непобедимейшего короля Англии Генриха, восьмого с этим именем, щедро украшенного всеми качествами выдающегося государя, были недавно немаловажные спорные дела[10] с пресветлейшим государем Кастилии Карлом.

Для обсуждения и улажения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненного мужа Кутберта Тунсталла[11], которого недавно к всеобщей радости король назначил начальником архивов. В похвалу ему я не скажу ничего, но не из боязни, что дружба с ним не будет верной свидетельницей моей искренности, а потому, что его доблесть и ученость стоят выше всякой моей оценки; затем повсеместная слава и известность его настолько исключают необходимость хвалить его, что, поступая так, я, по пословице, стал бы освещать солнце лампой[12].

Согласно предварительному условию, в Бругге[13] встретились с нами представители государя, все выдающиеся мужи. Среди них первенствовал и был главою губернатор Бругге, а устами

и сердцем посольства был Георгий Темзиций [14], настоятель собора в Касселе, красноречивый не только в силу искусства, но и от природы. К тому же он был превосходным знатоком права и выдающимся мастером в ведении переговоров благодаря своему уму, равно как и постоянному опыту. После нескольких встреч мы не пришли к полному согласию по некоторым пунктам, и потому они, простившись с нами, поехали на несколько дней в Брюссель, чтобы узнать волю их государя. А я на это время, по требованию обстоятельств, отправляюсь в Антверпен.

Во время пребывания там наиболее приятным из всех моих посетителей был Петр Эгидий, уроженец Антверпена, человек, пользующийся среди сограждан большим доверием и почетом и достойный еще большего. Неизвестно, что стоит выше в этом юноше — его ученость или нравственность, так как он и прекрасный человек и высокообразованный. К тому же он мил со всеми, а к друзьям особенно благожелателен, любит их, верен им, относится к ним так сердечно, что вряд ли найдешь где другого человека, которого можно было бы сравнить с ним в отношении дружбы. Он наредкость скромен, более всех других ему чужда напыщенность; ни в ком простодушие не связано в такой мере с благоразумием. Речь его весьма изящна и безобидно остроумна. Поэтому приятнейшее общение с ним и его в высокой степени сладостная беседа в значительной степени облегчили мне тоску по родине и домашнему очагу, по жене и детям, к свиданию с которыми я стремился с большой тревогой, так

как тогда уже более четырех месяцев отсутствовал из дому.

Однажды я был на богослужении в храме девы Марии, который является и красивейшим зданием и всегда переполнен народом. По окончании обедни я собирался вернуться в гостиницу, как вдруг случайно вижу Петра говорящим с иностранцем, близким по летам к старости, с опаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с плащом, небрежно свесившимся с плеча; по наружности и одежде он показался мне моряком. Заметив меня, Петр тотчас подходит и здоровается. Я хотел ответить ему, но он отводит меня несколько в сторону и спрашивает: „Видишь ты этого человека?“ Одновременно он показывает на того, кого я видел говорившим с ним. „Я собирался, — добавил он, — прямо отсюда вести его к тебе“. — „Его приход был бы мне очень приятен, — ответил я, — ради тебя“. — „Нет, — возразил Петр, — ради него самого [15], если бы ты знал этого человека. Нет ведь теперь никого на свете, кто мог бы рассказать столько историй о неведомых людях и землях, а я знаю, что ты большой охотник послушать это“. — „Значит, — говорю, — я сделал неплохую догадку. Именно, сразу, на первый взгляд, я заметил, что это — моряк“. — „И все-таки, — возразил Петр, — ты был очень далек от истины. Правда, он плавал по морю, но не как Палинур [16], а как Улисс [17], вернее как Платон [18]. Именно, этот Рафаил — таково его имя, а фамилия Гитлодей [19] — не лишен знания латыни, а греческий он знает превосходно. Он потому усерднее занимался этим языком, чем римским,

что всецело посвятил себя философии, а в области этой науки, как он узнал, по-латыни не существует ничего сколько-нибудь важного, кроме некоторых сочинений Сенеки [20] и Цицерона [21]. Оставив братьям имущество, которое было у него на родине (он — португалец), он из желания посмотреть на мир примкнул к Америго Веспуччи [22] и был постоянным его спутником в трех последующих путешествиях из тех четырех, про которые читают [23] уже повсюду, но при последнем не вернулся с ним. Именно, Рафаил приложил все старание и добился у Веспуччи быть в числе тех двадцати четырех, кто был оставлен в крепости [24] у границ последнего плавания. Таким образом, он был оставлен в угоду своему характеру, более склонному к странствиям по чужбине, чем к пышным мавзолеям на родине. Именно он постоянно повторяет следующие изречения: „небо покрывает того, у кого нет урны“ [25], и: „дорога к всевышним отовсюду одинакова“ [26]. Не будь божество благосклонно к нему, такие мысли его обошлись бы ему очень дорого.

Впрочем, после разлуки с Веспуччи он с пятью своими товарищами по крепости объездил много стран, и напоследок удивительная случайность занесла его на Цейлон [27]; оттуда прибыл он в Каликвит [28], где нашел кстати корабли португальцев, и в конце концов неожиданно вернулся на родину.

После этого рассказа Петра я поблагодарил его за услужливость, именно — за усиленную заботу о том, чтобы мне насладиться беседой с тем лицом, разговор с которым, как он надеялся,

будет мне приятен. Затем я поворачиваюсь к Рафаилу. Тут после взаимных приветствий и обмена теми общепринятыми фразами, которые обычно говорятся при первой встрече лиц незнакомых, мы идем ко мне домой и здесь в саду, усевшись на скамейке, покрытой зеленым дерном, начинаем разговор.

Рафаил рассказал нам, как после отъезда Веспуччи он сам и его товарищи, оставшиеся в крепости, начали мало-по-малу, путем встреч и ласкового обхождения, приобретать себе расположение жителей той страны. В результате они не только жили среди них в безопасности, но чувствовали себя с ними по-приятельски; затем они вошли в милость и расположение к одному государю (имя его и название его страны вышали у меня из памяти). Благодаря его щедрости, продолжал Рафаил, как сам он, так и его товарищи получили в изобилии продовольствие и денежные средства, а вместе с тем и вполне надежного проводника. Он должен был доставить их — по воде на плотах, по суше на повозках — к другим государям, к которым они ехали с дружескими рекомендациями. После многодневного пути Рафаил, по его словам, нашел малые и большие города и густо населенные государства с отнюдь не плохим устройством.

Именно, под экваториальной линией, затем с обеих сторон вверх и вниз от нее, почти на всем пространстве, которое охватывает течение солнца, лежат обширные пустыни, высохшие от постоянного жара; в них повсюду нечистота, грязь, предметы имеют скорбный облик, все

сурово и невозделано, заселено зверями и змеями или, наконец, людьми, не менее дикими, чем чудовища, и не менее вредными. Но по мере дальнейшего продвижения все мало-по-малу смягчается: климат становится менее суровым, почва — привлекательной от зелени, натура живых существ — более мягкой. Наконец открываются народы, города, большие и малые, в их среде постоянные торговые сношения по суше и по морю не только между собою и соседями, но даже и с племенами, живущими в отдалении.

По словам Рафаила, он имел возможность осмотреть многие страны во всех направлениях потому, что он и его товарищи весьма охотно допускались на всякий корабль, снаряжавшийся для любого плавания. Он рассказывал, что корабли, виденные им в первых странах, имели киль плоский, паруса на них натягивались из сшитых листьев папируса[29] или из прутьев, в иных местах — из кож. Далее находили они кили заостренные, паруса пеньковые, наконец, во всем похожие на наши. Моряки оказались достаточно сведущими в знании моря и погоды.

Но, как он рассказывал, он приобрел у них огромное влияние, сообщив им употребление магнитной иглы, с которой они раньше были совершенно незнакомы, и потому с робостью привыкали к морской пучине, доверяясь ей без колебаний не в иную пору, как только летом. Ныне же, крепко уповая на эту иглу, они презирают зиму. Результатом этого явилась скорее их беззаботность, чем безопасность; поэтому можно опасаться, как бы та вещь, которая, по их мнению, должна была принести им большую

Титульный лист Базельского издания «Утопии» 1518 г., проверенного самим Мором.

(Гравюра Гольбейна)

пользу, не явилась, в силу их неблагоразумия, причиной больших бедствий.

Слишком долго было бы излагать его рассказы о том, что он видел в каждой стране, да это и не входит в план настоящего сочинения и, может быть, будет передано нами в другом месте. Особенно полезным будет, конечно, прежде всего знакомство с теми правильными и мудрыми мероприятиями, которые он замечал где-либо у народов, живущих в гражданском благоустройстве. Об этом и мы расспрашивали его с большою жадностью, и он распространялся охотнее всего. Между тем мы оставили в стороне всякие вопросы о чудовищах, так как это представляется отнюдь не новым. Действительно, на хищных Сцилл[30] и Целен[31] и пожирающих народы Лестригонов[32] и тому подобных бесчеловечных чудовищ можно наткнуться почти всюду, а граждан, воспитанных в здравых и разумных правилах, нельзя найти где угодно.

Но, отметив у этих новых народов много превратных законов, Рафаил, с другой стороны, перечислил немало и таких, откуда можно взять примеры для исправления заблуждений наших городов, народов, племен и царств; об этом, как я сказал, я обещаюсь упомянуть в другом месте. Теперь я имею в виду только привести его рассказ об обычаях и учреждениях утопийцев, но предварительно все же передам тот разговор, который послужил как бы путеводной нитью к упоминанию этого государства.

Именно, Рафаил стал весьма умно перечислять сперва ошибки наши и тех народов, во всяком случае очень многочисленные с обеих

сторон, а затем мудрые и благоразумные распоряжения у нас, равно как и у них. При этом он излагал обычаи и учреждения каждого народа так, что казалось, будто, попадая в какое-либо место, он прожил там всю жизнь. Тогда Петр в восхищении воскликнул: „Друг Рафаил, почему ты не пристроишься при каком-либо государе? Я убежден, что ты вполне угодишь каждому из них, так как в силу такой своей учености и такого знания мест и людей ты способен не только позабавить, но привести поучительный пример и помочь советом. Вместе с тем таким способом ты сможешь отлично устроить и собственные дела, оказать большую помощь преуспеянию всех твоих близких".

„Что касается моих близких, — возразил Рафаил, — то я не очень волнуюсь из-за них. Я считаю, что посильно выполнил лежавший на мне долг по отношению к ним. Именно, будучи не только вполне здоровым и бодрым, но и молодым человеком, я распределил между родственниками и друзьями свое имущество. А обычно другие отступаются от него только под старость и при болезни, да и тогда даже отступаются с трудом, будучи не в силах более удержать его. Думаю, что мои близкие должны быть довольны этой моей милостью и не будут требовать и ждать того, чтобы ради них я пошел служить царям". — „Не выражайся резко! — заметил Петр. — Я имел в виду не служить царям, а услужить[33] им". — „Но это, — ответил Рафаил, — только один лишний слог по сравнению с служить". — „А я, — возразил Петр, — думаю так: как бы ты ни называл это занятие, именно

оно является средством, которым ты можешь принести пользу не только тесному кругу лиц, но и обществу, а также улучшить свое собственное положение". — „Улучшится ли оно, — спросил Рафаил, — тем путем, который мне не по сердцу? Ведь теперь я живу так, как хочу, а я почти уверен, что это — удел немногих порфироносцев! Разве мало таких лиц, которые сами ищут дружбы с владыками, и разве, по-твоему, получится большой урон, если они обойдутся без меня или без кого-либо мне подобного?"

Тогда вступаю в беседу я: „Друг Рафаил, ты, очевидно, не стремишься ни к богатству, ни к могуществу, и, разумеется, человека с таким образом мыслей я уважаю и почитаю не менее, чем и каждого из тех, кто обладает наивысшим могуществом. Но, как мне кажется, ты поступишь с полным достоинством для себя и для твоего столь возвышенного и истинно философского ума, если постараешься даже с известным личным ущербом отдать свой талант и усердие на служение обществу; а этого ты никогда не можешь осуществить с такой пользой, как если ты станешь советником какого-либо великого государя и, в чем я уверен, начнешь внушать ему надлежащие честные мысли. Не надо забывать, что государь, подобно неиссякаемому источнику, изливает на весь народ поток всего хорошего и дурного. Ты же всегда явишься превосходным советником для всякого из королей даже без большой житейской практики, благодаря твоей совершенной учености и даже без всякой учености, благодаря твоей многосторонней опытности".

„Друг Мор, — ответил Рафаил, — ты дважды ошибаешься: во-первых, в отношении меня, во-вторых, по сути дела. У меня нет тех способностей, которые ты мне приписываешь, а если бы они и были, то, жертвуя для дела своим бездействием, я не принес бы никакой пользы государству. Прежде всего все короли в большинстве случаев охотнее отдают свое время только военным наукам (а у меня в них нет опытности, да я и не желаю этого), чем благим деяниям мира; затем государи с гораздо большим удовольствием, гораздо больше заботятся о том, как бы законными и незаконными путями приобрести себе новые царства, нежели о том, как надлежаще управлять приобретенным. Кроме того из всех советников королей нет никого, кто действительно настолько умен, чтобы не нуждаться в советах другого, или представляется самому себе настолько умным, что ему не угодно одобрять чужое мнение. Впрочем, есть исключение: советники льстиво и низкопоклонно потворствуют каждому нелепому мнению лиц, пользующихся у государя наибольшим влиянием, желая подобной лестью расположить их к себе. И во всяком случае природой так устроено, что каждому нравятся его произведения. Так и ворону мил его выводок, и обезьяне люб ее детеныш.

Поэтому, если в кругу подобных лиц, завидующих чужим мнениям и предпочитающих собственные, кто-нибудь приведет факт, вычитанный им из истории прошлого или замеченный в других странах, то слушатели относятся к этому так, как будто вся репутация их мудрости под-

вергается опасности, и после этого замечания их сочтут круглыми дураками, если они не сумеют придумать чего-нибудь такого, чем можно опорочить выдумку других. Если других средств нет, то они прибегают к следующему: это, говорят они, нравилось нашим предкам, а мы желали бы равняться с ними в мудрости. И на этом они успокаиваются, считая, что подобным замечанием прекрасно себя защитили. Как будто великая опасность получится от того, если кто в каком-либо деле окажется умнее своих предков. А между тем всему, что ими удачно установлено, мы с полным спокойствием предоставляем существовать. Но если по какому-либо поводу можно придумать нечто более благоразумное, то мы тотчас страстно хватаемся за этот довод (уважение к предкам) и цепко удерживаем его. С подобными высокомерными, нелепыми и капризными суждениями я встречался неоднократно в других местах, а особенно однажды столкнулся с ними в Англии".

„Скажи пожалуйста, — спрашиваю я, — так ты был в нашей стране?" — „Да, — ответил он, — и провел там несколько месяцев немного спустя после поражения западных англичан[34] в гражданской войне против короля, которая была подавлена безжалостным их избиением. В это время я многим обязан был досточтимому отцу Иоанну Мортону[35], архиепископу кентерберийскому и кардиналу, а тогда также и канцлеру Англии. Этот муж, друг Петр (я обращаюсь к тебе, так как Мор знает, что я имею в виду сказать), внушал уважение столько же своим авторитетом, как благоразумием и добродетелью.

Стан у него был средний, но не согбенный от возраста, хотя и преклонного. Лицо внушало почтение, а не страх. В обхождении он был не тяжел, но серьезен и важен. У него появлялось иногда желание слишком сурового обращения с просителями, впрочем, без вреда для них; он хотел этим испытать, какою находчивостью, каким присутствием духа обладает каждый. В смелости их, но отнюдь не связанной с нахальством, он находил большое удовольствие, так как это качество было сродни и ему самому, и он признавал такого человека пригодным для служебной деятельности. Речь его была гладкая и проникновенная. Он обладал превосходным знанием права, несравненным остроумием, наредкость дивной памятью. Эти выдающиеся природные качества он развил учением и упражнением.

Король вполне полагался на его советы; в мою бытность там находило в них опору и государство. С ранней юности, прямо со школьной скамейки, попал он ко двору, провел всю жизнь среди важных дел и, постоянно подвергаясь превратностям судьбы, среди многих и великих опасностей приобрел большой государственный опыт, который, будучи получен таким образом, нескоро исчезает.

По счастливой случайности, я присутствовал однажды за его столом; тут же был один мирянин, знаток ваших законов. Не знаю, по какому поводу он нашел удобный случай для обстоятельной похвалы тому суровому правосудию, которое применялось в то время по отношению к ворам; их, как он рассказывал, вешали иногда

по двадцати на одной виселице. Тем более удивительным, по его словам, выходило то, что, хотя незначительное меньшинство ускользало от казни, в силу какого-то злого рока многие все же повсюду занимались разбоями. Тогда я, рискнув говорить свободно в присутствии кардинала, заявил:

— Ничего тут нет удивительного. Такое наказание воров заходит за границы справедливости и вредно для блага государства. Оно слишком ужасно для кары за воровство и все же недостаточно для его обуздания. Действительно, простая кража не такой огромный проступок, чтобы за него рубить голову, а с другой стороны, ни одно наказание не является настолько сильным, чтобы удержать от разбоев тех, у кого нет никакого другого способа снискать пропитание. В этом отношении вы, как и значительная часть людей на свете, повидимому, подражаете плохим педагогам, которые охотнее бьют учеников, чем их учат. В самом деле, вору назначают тяжкие и жестокие муки, тогда как гораздо скорее следовало бы позаботиться о каких-либо средствах к жизни, чтобы никому не предстояло столь жестокой необходимости сперва воровать, а потом погибать.

— В этом отношении,— отвечал тот,— приняты достаточные меры; существуют ремесла, существует земледелие: ими можно поддержать жизнь, если люди сами не предпочтут быть дурными.

— Нет, так тебе не вывернуться,— отвечаю я.— Оставим прежде всего тех, кто часто возвращается домой калеками с войн внешних или

гражданских, как недавно у вас после битвы при Корнуэлле и немного ранее — после войн с Францией [36]. После потери членов тела ради государства и ради короля убожество не позволяет им вернуться к прежним занятиям, а возраст — изучить новые. Но, повторяю, оставим это, так как войны происходят через известные промежутки времени. Обратимся к тому, что бывает всякий день.

Во-первых, существует огромное число знати; она, подобно трутням, живет праздно трудами других, именно арендаторов [37] своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть или этим слугам заболеть, как их тотчас выбрасывают вон. Хозяева охотнее содержат праздных, чем больных, и часто наследник умершего не в силах содержать отцовскую челядь. И вот они усиленно голодают, если не начинают усиленно разбойничать. Действительно, что им делать? Когда в скитаниях они поизносят несколько платье и поизносятся сами, то подкошенных болезнью и покрытых лохмотьями не соблаговолят принять благородные и не посмеют крестьяне. Эти последние прекрасно знают, что человек, деликатно воспитанный среди праздности и наслаждений, со шпагой на боку и со щитом в руке, привык только хвастливо бросать гордые взгляды на соседей

и презирать всех по сравнению с собою, а отнюдь не пригоден для того, чтобы с заступом и мотыкой, за скудное вознаграждение и скромный стол верно служить бедняку.

На это мой собеседник возразил:

— А нам, однако, надо особенно поддерживать людей этого рода; в них ведь, как в людях более возвышенного и благородного настроения, заключается, в случае если дело дойдет до войны, главная сила и крепость войска.

— Отлично,— отвечаю я,— с таким же основанием ты мог бы сказать, что ради войны надо поддерживать и воров, от которых, несомненно, вы никогда не избавитесь, пока у вас будут эти дворовые. Почему, с одной стороны, разбойникам не быть вполне расторопными солдатами, а с другой, солдатам — самыми отъявленными трусами из разбойников,— до такой степени эти два занятия прекрасно подходят друг к другу. Впрочем, этот порок, несмотря на свою распространенность у вас, не составляет, однако, вашей отличительной особенности: он общий у всех почти народов. Так, что касается Франции, то ее сверх этого разоряет другая язва, еще более губительная: вся страна даже и во время мира (если это можно назвать миром) наполнена и осаждена наемными солдатами, призванными в силу того же убеждения, в силу которого вы признали нужным держать здесь праздных слуг. Именно, эти умные дураки[38] решили, что благо государства заключается в том, что оно должно иметь всегда наготове сильный и крепкий гарнизон, состоящий главным образом из ветеранов: эти политики

отнюдь не доверяют новобранцам. Поэтому им приходится искать войны даже и для того, чтобы дать опыт солдатам и вообще иметь людей для резни; иначе, по остроумному замечанию Саллюстия[39], руки и дух закоченеют в бездействии.

Франция познала собственным бедствием, насколько гибельно содержать чудовищ такого рода, а с другой стороны, то же доказывают примеры римлян, карфагенян, сирийцев и вообще многих народов. Постоянные войска всех их уничтожили по разным поводам не только собственную державу, но поля и даже самые города. В какой степени, однако, это не вызывается необходимостью, видно хотя бы из следующего: даже и французские солдаты, вполне, от молодых ногтей закаленные в боях, при столкновении с вашими призывными не могут слишком часто похвастаться победами. Впрочем, я не буду дальше распространяться об этом в вашем присутствии, чтобы не оказаться льстецом. Но нельзя думать, чтобы и у вас праздные телохранители аристократов внушали больший страх вашим городским ремесленникам или простым и грубым земледельцам, кроме разве тех из них, кто по своему телосложению не отличается особой физической силой и отвагой или чья бодрость надломлена имущественными недостатками. Поэтому нет никакого основания опасаться, что эти сильные и крепкие физически люди (ведь только отборные удостаиваются развращенного внимания аристократии), теперь слабеющие в праздности или в занятиях чуть ли не женских, станут недоста-

точно мужественны, если получат подготовку для жизни в полезных ремеслах и мужских трудах. Во всяком случае, мне отнюдь не представляется полезным для государства содержать на случай войны, которой у вас никогда не будет без вашего желания, беспредельную толпу людей такого рода; они вредят миру, о котором во всяком случае надо заботиться гораздо больше, чем о войне.

Впрочем, это не единственная причина для воровства. Есть другая, насколько я полагаю, более присущая специально вам.

— Какая же это? — спросил кардинал.

— Ваши овцы[40],— отвечаю я,— обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно, во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастали от имений у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят дома, разрушают города, оставляя храмы только для свиных стойл. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами для дичи и зверинцами.

Таким образом, с тех пор[41], как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон некоторых арендаторов, лишает их, или опутанных обманом, или подавленных насилием, даже их собственного достояния, или, замучив обидами, вынуждает к продаже его. Во всяком случае, происходит переселение несчастных: мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, родителей с малыми детьми и более многочисленными, чем богатыми, домочадцами, так как хлебопашество требует много рук. Они переселяются, повторяю, с привычных и насиженных мест и не знают, куда деться; всю утварь, стоящую недорого, даже если бы она могла дожидаться покупателя, они продают за бесценок при необходимости сбыть ее. А когда они в своих странствиях быстро потратят это, то что им остается другое, как не воровать и попадать на виселицу, по заслугам, или скитаться и нищенствовать? Впрочем, и тут, как бродяги, они попадают в тюрьму за свое праздное хождение,— никто ведь не нанимает их труд, хотя они самым пламенным образом предлагают его. А хлебопашеству, к которому они привыкли, нечего делать там, где ничего не сеют. Ведь достаточно одного овчара или пастуха вообще, чтобы пустить под пастбище ту землю, для надлежащей обработки которой под посев требовалось много рук.

От этого также сильно поднялась во многих местах цена на хлеб. Мало того, и сама шерсть возросла в цене настолько, что покупать ее

стало совершенно не под силу более бедным людям, занимавшимся приготовлением из нее одежды, и потому большинство из них от дела должны переходить к праздности. Дело в том, что после умножения пастбищ бесчисленное количество овец погибло от чумы, как будто этот мор, посланный на овец, был отмщением свыше за алчность их владельцев, хотя справедливее было бы обратить эту гибель на собственные головы владельцев. Но если даже количество овец сильно возрастет, то цена на шерсть все же нисколько не спадет, потому что если продажу ее нельзя назвать монополией, так как этим занято не одно лицо, то во всяком случае это — олигополия[42]. Ведь это дело попало в руки немногих и притом богатых людей, которых никакая необходимость не вынуждает продавать раньше, чем это им заблагорассудится, а заблагорассудится им не раньше, чем станет возможным продать за сколько им заблагорассудится. Та же причина вызывает одинаковую дороговизну и прочих пород скота и даже в тем большей степени, что с разрушением поместий и сокращением хлебопашества нет лиц, которые бы заботились о приплоде. Упомянутые богачи не выращивают ни ягнят, ни телят, но, купив их в других местах за дешевую цену, они откармливают их на своих пастбищах и перепродают дорого. Позволяю себе думать, что все неудобство такого положения дел еще не ощущается. Именно, до сих пор эти лица создают дороговизну скота только там, где продают его. Но когда они будут вывозить его с места покупки несколько

быстрее, чем он может рождаться, то и там также запас его будет мало-по-малу уменьшаться, и здесь, по необходимости, недостаток его будет очень ощутителен.

Таким образом, ненасытная алчность немногих лиц обратила в гибель вашему острову то самое[43], от чего он казался особенно счастливым. Эта дороговизна хлеба служит причиною того, что каждый отпускает от себя возможно большее количество челядинцев, но, спрашивается, на что, как не на нищету или — к чему можно легче склонить благородные натуры — на разбой?

Далее к этой жалкой нищете и скудости присоединяется неуместная роскошь. Именно, и у слуг знати, и у ремесленников, и почти что у самих крестьян, одним словом, у всех сословий заметно много чрезмерной пышности в одежде, излишняя роскошь в еде. Разве не посылают прямо на разбой своих поклонников, после предварительного быстрого опустошения их кошельков, все эти харчевни, притоны, публичные дома, и еще раз публичные дома в виде винных и пивных лавок, наконец столько бесчестных игр — кости, карты, стопка[44], большие и малые мячи, диск[45]?

Вышвырните эти губительные язвы, постановите, чтобы разрушители ферм и деревень или восстановили их или уступили желающим восстановить и строить. Обуздайте скупки, производимые богачами, их своеволие, переходящее как бы в их монополию. Кормите меньше дармоедов. Верните земледелие, возобновите обработку шерсти, да станет она почетным делом!

пусть с пользой занимается им эта праздная толпа: те, кого до сих пор бедность сделала ворами, или те, кто является теперь бродягами, либо праздными слугами,— то-есть в обоих случаях будущие воры. Если вы не уврачуете этих бедствий, то напрасно станете хвастаться вашим испытанным в наказаниях воровства правосудием, скорее с виду внушительным, чем справедливым и полезным. В самом деле, вы даете людям прекрасное воспитание, портите мало-по-малу с юных лет их нравственность, а признаете их достойными наказания только тогда, когда они, придя в зрелый возраст, совершат позорные деяния; но этого можно было постоянно ожидать от них, начиная с детства. Разве, поступая так, вы делаете что-нибудь другое, кроме того, что создаете воров и одновременно их караете?

Во время этой моей речи упомянутый правовед сосредоточенно приготовился к возражению. Он решился прибегнуть к тому обычному способу рассуждения, когда с бо́льшим старанием повторяют доводы противника, чем отвечают на них; такие возражатели вменяют себе в заслугу прежде всего свою хорошую память.

— Ты, конечно,— начал он,— сказал красиво; но легко догадаться, что ты иностранец, который мог скорее кое-что слышать об этих делах, чем иметь о них какие-либо точные сведения; это я и выявлю в немногих словах. Именно, прежде всего я перечислю по порядку твои доводы; затем покажу, в каких пунктах ты ошибся в силу незнания наших обстоятельств; наконец, разобью и опровергну все

твои положения. Так вот, начиная, согласно обещанию, с первого, ты, как мне показалось, в четырех пунктах...

— Молчи,— перебил кардинал,— раз ты начинаешь так, то собираешься отвечать не в немногих словах. Поэтому мы освободим тебя в настоящее время от этого тягостного ответа, но сохраним за тобою такую задачу целиком во второй вашей встрече; ее мне желательно было бы устроить завтра, если ничто не помешает ни тебе, ни Рафаилу. А пока, друг Рафаил, я очень охотно услышал бы от тебя, почему ты не признаешь нужным карать воровство высшей мерой наказания и какую кару за него, более полезную для общества, назначаешь ты сам; ведь и ты также не признаешь воровство терпимым. А если теперь люди рвутся воровать, несмотря на смерть, то, раз устранен будет страх ее, какая сила, какой страх может отпугнуть злодеев: смягчение наказания они, пожалуй, истолкуют, как поощрение и приглашение к злодеянию?

— Во всяком случае, всемилостивейший владыка,— отвечаю я,— по моему мнению, совершенно несправедливо отнимать жизнь у человека за отнятие денег. Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира. А если мне говорят, что это наказание есть возмездие не за деньги, а за попрание справедливости, за нарушение законов, то почему тогда не назвать с полным основанием это высшее право высшею несправедливостью?[46] Действительно, нельзя одобрить, с одной стороны, достойные Манлия[47]

Общий вид острова Утопии

(Из Базельского издания «Утопии» 1518 г.)

законы, повелевающие обнажать меч за малейшее нарушение дисциплины; с другой стороны, порицания заслуживают и стоические положения[48], признающие все прегрешения до такой степени равными, что, по их мнению, нет никакой разницы между убийством человека и кражей у него гроша; а на самом деле между этими преступлениями, рассматривая их сколько-нибудь беспристрастно, нет никакого сходства и родства. Бог запретил убивать кого бы то ни было, а мы так легко убиваем за отнятие ничтожной суммы денег. Если же кто-нибудь стал бы толковать это так, что данное повеление божие запрещает убийство во всех случаях, кроме тех, когда оно допускается человеческими законами, то что же мешает людям точно таким же образом согласиться между собой о допустимости разврата, прелюбодеяния и клятвопреступления? Бог отнял право лишать жизни не только другого, но и себя самого; так неужели соглашение людей об убийстве друг друга, принятое при определенных судебных условиях, должно иметь такую силу, чтобы освобождать от применения этой заповеди его исполнителей, которые без всякого указания божия уничтожают тех, кого велел им убить людской приговор? Не будет ли в силу этого данная заповедь божия правомочной только постольку, поскольку допустит ее право человеческое? В результате люди таким же образом могут принять общее постановление о том, в какой мере следует вообще исполнять повеления божии. Наконец, и закон Моисеев[49], несмотря на все свое немилосердие и суровость (он дан был

против рабов и притом упрямых), все же карал за кражу денежным штрафом, а не смертью. Не будем же думать, что в новом законе милосердия [50], где бог повелевает, как отец детям, он предоставил нам больший произвол свирепствовать друг против друга.

Вот причины, по которым я высказываюсь против казни. А насколько нелепо и даже гибельно для государства карать одинаково вора и убийцу, это, думаю, известно всякому. Именно, если разбойник видит, что при осуждении только за кражу ему грозит не меньшая опасность, как за уличение еще и в убийстве, то этот один расчет побуждает его к убийству того, кого при других обстоятельствах он собирался только ограбить. Действительно, в случае поимки опасность для него нисколько не увеличивается, а при убийстве она даже уменьшается, так как с уничтожением доказчика преступления можно иметь бо́льшую надежду скрыться. Поэтому, стремясь чересчур сильно устрашить воров, мы подстрекаем их к уничтожению хороших людей [51].

Что же касается обычного дальнейшего вопроса, какое наказание может быть более подходящим, то ответить на это, по моему мнению, несколько легче, чем на то, какое наказание может быть еще хуже. Зачем нам сомневаться в пользе того способа кары за злодеяния, который, как мы знаем, был так долго в ходу у римлян, весьма опытных в управлении государством? Именно, уличенных в крупных злодеяниях они присуждали к каменоломням и рудникам, держа их кроме того постоянно в кандалах.

Впрочем, в этом отношении я ни у одного народа не нахожу лучшего порядка, чем тот, какой я наблюдал и заметил, путешествуя по Персии, у так называемых полилеритов [52]; это — народ не маленький и вполне рационально организованный. За исключением дани, платимой им ежегодно персидскому царю, он в остальных отношениях свободен и управляется по своим законам. Живя далеко от моря и будучи почти со всех сторон окружены горами, они довольствуются плодами своей страны, отнюдь ни в чем не скупой, и сами не часто посещают других, не часто и посещаются; по старинному национальному обычаю, они не стремятся к расширению своих границ, которые в их теперешнем виде легко защищены от всякого несправедливого посягательства горами и платой, вносимой могущественному властелину. Вполне свободные от военной службы, они живут не столько блестяще, сколько благополучно, и скорее счастливо, чем пышно и славно; даже самое имя их известно только ближайшим соседям.

Так вот у полилеритов пойманные при краже возвращают утащенное хозяину, а не государю, как это обычно делается в других местах: по мнению этого народа, у государя столько же прав на украденную вещь, как и у самого вора. Если же вещь пропадет, то после оценки стоимость ее выплачивается из имущества воров, остальное же отдается целиком их женам и детям, а сами воры осуждаются на общественные работы. Если совершение кражи не осложнено преступлением, то похитителей не сажают

в тюрьму, избавляют от кандалов, а они свободно и беспрепятственно занимаются общественными работами. Если же преступники уклоняются от них или производят их слишком вяло, то их не столько наказывают кандалами, сколько поощряют ударами. Работающие усердно избавлены от оскорблений; только ночью, после поименного счета, их запирают по камерам. Кроме постоянного труда, их жизнь не представляет никаких неприятностей. Питаются они не скудно: работающие для государства — на казенный счет, в других случаях — по-разному. Иногда траты на них собираются путем милостыни; хотя это — путь очень ненадежный, однако, в силу присущего данному народу милосердия, он дает результат, лучший всякого другого; в других местах назначаются для этого известные общественные доходы. В иных местах для этой потребности устанавливают определенный поголовный налог. Наконец, в некоторых местностях преступники не исполняют никаких общественных работ; но, по мере того как каждое частное лицо нуждается в наемных рабочих, оно нанимает на рынке любого из них за определенную плату, несколько дешевле по сравнению с свободным человеком; кроме того раба за его леность позволяется наказать бичом.

В результате эти люди никогда не бывают без работы, и, помимо заработка на свое содержание, каждый вносит еще нечто в государственную казну. Все вместе и каждый в отдельности одеты в один определенный цвет, волос им не бреют, а подстригают немного выше ушей, одно из которых слегка подрезают [53].

Друзья могут давать каждому пищу, питье и платье надлежащего цвета; но дать деньги считается уголовным преступлением как для дающего, так и для получающего; не менее опасным является для человека свободного получать по какой бы то ни было причине монету от осужденного, равно как рабам (так называют осужденных) запрещается касаться оружия. Каждая область различает своих рабов особой отметкой, бросить которую считается уголовным преступлением, равно как показаться вне своих пределов и вести какой-либо разговор с рабом другой области. Замысел бегства является столь же опасным, как и самое бегство. За соучастие в таком решении рабу полагается казнь, свободному рабство. С другой стороны, доносчику назначены награды: свободному деньги, рабу свобода, далее обоим прощение и безнаказанность за соучастие; таким образом, приведение в исполнение дурного намерения ни в каком случае не может доставить бо́льшую безопасность, чем раскаяние в нем.

Законы и порядки насчет воровства таковы, как я сказал. Легко можно видеть, насколько они человечны и удобны. Гнев проявляется настолько, чтобы уничтожить пороки; но люди остаются в целости и встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, которое они причинили раньше.

Далее, не может быть никакого опасения за то, что они вернутся к прежним нравам. Мало того, путешественники при своем отправлении куда-либо считают себя в наибольшей безопас-

ности, когда их проводниками являются именно эти рабы, которых они неоднократно меняют в каждой области. Действительно, для совершения разбоя рабы не видят ни в чем никакой подмоги: руки у них безоружны, деньги явятся только доносчиком злодеяния, в случае поимки кара наготове, и нет абсолютно никакой надежды убежать куда бы то ни было. В самом деле, как сделать незаметным и скрыть свое бегство человеку, нисколько не похожему платьем на остальных? Разве только уйти голому? Да и в этом случае беглеца может выдать его урезанное ухо. Но, наконец, может, пожалуй, еще явиться опасение, что они вознамерятся составить заговор против государства. Как будто какая-нибудь отдельная округа может возыметь такую надежду, не опросив и не подговорив предварительно рабов многих областей! Они не только лишены возможности устраивать заговоры, но им нельзя даже собраться вместе побеседовать и обменяться приветствиями: тут же надо признать, что они бесстрашно вверят своим сотоварищам такой план, умолчать о котором, как известно, опасно, а выдать его будет очень выгодно. С другой стороны, никто из рабов отнюдь не лишен надежды на то, что если он будет послушен, скромен и подаст добрую надежду на исправление своей жизни в будущем, то он может под этими условиями рассчитывать на обратное получение свободы; это и делается ежегодно для нескольких лиц из уважения к их терпеливости.

Вот что я сказал, и прибавил, что не вижу основания, почему бы этот образ действия не

мог принести и в Англии гораздо большие плоды, чем та справедливость, которую так превозносил упомянутый правовед. Тогда этот последний заметил:

— Никогда ничего подобного нельзя установить в Англии, не подвергая государство величайшей опасности.

При этих словах он покачал головою, скривил презрительно губы и замолчал. Все присутствовавшие охотно согласились с его словами. Тогда кардинал заметил:

— Нелегко угадать, будет ли это иметь успех или нет, раз не сделано никакого предварительного опыта. Но если по произнесении смертного приговора государь велит отложить казнь, то можно применить обычай полилеритов, уничтожив привилегию заповедных мест [54]; и вот тут, если результат дела докажет его пользу, правильно было бы ввести это установление; в противном случае заслуженная казнь тех, кто уже подвергся осуждению, будет так же полезна для государства и так же справедлива, как если бы она была совершена ранее; между тем опасности от этого не может быть никакой. Мало того, по-моему, подобный образ действия можно было бы с значительным успехом применить и к бродягам [55], а то в отношении их мы до сих пор не добились никаких результатов, несмотря на издание многочисленных законов.

Как только кардинал сказал это, все наперерыв осыпали похвалами его мысль, к которой раньше, в моих устах, отнеслись с пренебрежением; особое же одобрение заслужил

пункт о бродягах, так как это была его собственная прибавка.

Не знаю, не лучше ли умолчать о том, что произошло далее, так как это было смешно; но все же я расскажу: это было недурно и имело некоторое отношение к настоящей теме.

Случайно тут стоял один блюдолиз [56], который, повидимому, хотел строить из себя дурака, но, притворяясь таковым, был очень близок к настоящему. Шутки его, которыми он старался насмешить, были настолько плоски, что сам он вызывал смех гораздо чаще, чем его слова. Но иногда все же у него вырывалось нечто совсем неглупое, что могло оправдать правильность поговорки: „При частой игре добьешься и выигрыша“ [57]. Именно, один из гостей сказал, что я в своей речи принял надлежащие меры против воров, кардинал подумал о бродягах, и теперь государству остается только позаботиться о тех, кого довела до нищеты болезнь или старость и сделала их непригодными к труду для снискания себе пропитания. Тогда упомянутый паразит заметил:

— Позволь мне, я и это устрою правильно. Я страстно желаю удалить куда-нибудь с глаз долой людей этого рода. Они мне сильно и часто надоедали своим требованием денег, сопровождаемым жалобными воплями, но никогда все же причитания их не имели такого успеха, чтобы вытянуть у меня монету. Выходило както всегда одно из двух: или мне не хотелось давать, или даже и нельзя было, так как не было ничего. Поэтому теперь они стали умнее; когда они видят, что я иду, то не тратят своего

труда и пропускают молча: они совершенно не ждут ничего от меня, как будто бы я был священником. Так вот я и вношу закон, чтобы всех этих нищих разместить и распределить по бенедиктинским [58] монастырям и сделать из них так называемых монахов мирян, а женщинам я велю стать монахинями.

Кардинал улыбнулся [59] и одобрил это, как шутку, а другие приняли ее и всерьез.

Но это замечание о священниках и монахах сильно развеселило одного из этих последних, ученого богослова, так что он и сам захотел пошутить, хотя в общем был серьезен до свирепости.

— Но и в этом случае,— заметил он,— ты не отделаешься от нищих, если не подумаешь и о нас — монашествующей братии.

— Да это уже предусмотрено,— ответил паразит.— Ведь кардинал прекрасно позаботился о вас, когда выносил постановление о задержании и привлечении к работе бродяг, ведь вы-то и есть главные бродяги.

При этих словах все взглянули на кардинала и, заметив, что он не отрицает этого, очень охотно подцепили это замечание, кроме монаха. Он (что и неудивительно), пораженный такою колкостью [60], пришел в негодование и до того раскипятился, что не мог удержаться от ругательств: он назвал противника негодяем, подлецом, клеветником и сыном погибели, приводя вместе с тем страшные угрозы из священного писания. Тогда шут вошел в свою роль всерьез и чувствовал себя вполне в своей тарелке [61].

— Не гневайся, добрый брат,— ответил он,— сказано в писании: „В терпении вашем овладеете душами вашими“ [62].

На это монах (приведу его подлинные слова) ответил:

— Я не гневаюсь, висельник, или по крайней мере не грешу, и псалмопевец говорит: „Гневайтесь и не согрешайте“ [63].

Затем, в ответ на мягкое внушение кардинала удержать свои страсти, монах заметил:

— Я говорю, как должен, по доброму усердию. Ведь у святых людей было доброе усердие; отсюда и сказано: „Усердие по доме твоем съело меня“ [64]. И в церквах поют: „Над Елисеем [65] кто смеялся, когда в храм тот направлялся“, усердие плешивого почуяли,— как почует, вероятно, и этот насмешник, шут, грубиян.

— Ты,— ответил кардинал,— поступаешь, может быть, с наилучшими побуждениями, но поступишь, по-моему, еще благочестивее, во всяком случае разумнее, если поведешь себя так, что не будешь вступать в смешное состязание с человеком глупым и смешным.

— Нет, владыка,— ответил тот,— я не поступил бы разумнее. Ведь сам премудрый Соломон говорит [66]: „Отвечай глупому по глупости его“, как я теперь и делаю и указываю ему яму, в которую он упадет, если не побережется как следует. Ведь если многие насмешники над Елисеем, который был только один плешивый, почувствовали усердие плешивого, то насколько сильнее почувствует это один насмешник над многими братьями, среди которых есть много плешивых? И вдобавок у нас есть папская

булла [67], по которой все осмеивающие нас подлежат отлучению.

Кардинал, увидев, что этому не будет конца, отослал кивком головы паразита и свел удачно разговор на другую тему, а затем немного спустя встал из-за стола и занялся делами своих подчиненных, отпустив нас.

Вот, друг Мор, каким длинным рассказом я заморил тебя; мне было бы очень стыдно так долго передавать это, но ты, с одной стороны, пламенно желал этого, а с другой, казалось, слушал так, как будто не желал ничего упустить из этого разговора. Но во всяком случае, мне, хотя бы и в сжатом виде, надо было передать это ради мнения тех лиц, которые одну и ту же мысль отвергли из моих уст и сейчас же сами одобрили ее, услышав одобрение ей от кардинала. Они угождали ему до такой степени, что льстили даже выдумке его паразита, которую кардинал не отверг, как шутку, и чуть не приняли ее всерьез. Отсюда ты можешь определить, какую цену имели бы в глазах придворных я и мои советы".

„Конечно, друг Рафаил,— отвечаю я,— ты доставил мне большое удовольствие, до такой степени разумна вместе и изящна была вся твоя речь. Кроме того, во время ее мне представлялось, что я не только нахожусь на родине, но даже до известной степени переживаю свое детство при приятном воспоминании о том кардинале, при дворе которого я воспитывался мальчиком. Друг Рафаил, хотя ты вообще очень дорог мне, но ты не поверишь, насколько стал ты мне дороже от того, что с таким глубоким

благоговением относишься к памяти этого мужа. Но все же я никоим образом не могу еще переменить своего мнения, а именно: если ты решишься не чуждаться дворцов государей, то своими советами можешь принести очень много пользы обществу. Поэтому исполнить это ты обязан прежде всего как человек честный. Ведь и твой Платон [68] полагает, что государства будут благоденствовать только в том случае, если философы будут царями или цари философами; но как далеко будет это благоденствие, если философы не соблаговолят даже уделять свои советы царям?"

„Нет, они не настолько неблагодарны, чтобы не делать этого с охотой,— возразил он,— наоборот, многие уже и выполнили это изданием своих книг, если бы только носители верховной власти были готовы повиноваться добрым советам. Но Платон, без сомнения, отлично предвидел, что если цари не станут сами философами, то, совершенно пропитанные и зараженные с детства превратными мнениями, они никогда не одобрят планов философов: это Платон испытал и сам при дворе Дионисия [69].

Как по-твоему, если я при дворе какого-нибудь короля предложу проекты здравых распоряжений и попытаюсь вырвать у него злые и гибельные семена, то разве я не подвергнусь немедленно изгнанию и не буду выставлен на посмешище?

Ну вот предположи, что я нахожусь при дворе французского короля [70], состою в его совете, и тут на самом секретном совещании, под председательством самого короля, в кругу ум-

нейших людей, усиленно обсуждается вопрос, какими средствами и ухищрениями король может удержать Милан [71], привлечь к себе обратно беглый Неаполь [72], а затем разорить Венецию [73], подчинить себе всю Италию [74], далее захватить власть над Фландрией, Брабантом, наконец, над всей Бургундией [75] и кроме того над другими народами, на королевства которых он давно уже нападал мысленно. Тут один [76] советник предлагает заключить союз с венецианцами, имеющий силу на столько времени, на сколько это будет удобно королю, сообщить им свои планы, даже оставить у них некоторую часть добычи, чтобы потребовать ее обратно при удовлетворительном окончании дела. Другой подает мысль о найме германцев, третий о том, чтобы задобрить деньгами швейцарцев [77], четвертый о том, чтобы умилостивить золотом, как жертвой, гнев августейшей воли его величества императора [78]; пятому представляется необходимым уладить дела с королем Аррагонии [79] и, в залог мира, отказаться от чужого, не французского, королевства Наваррского [80]; шестой предлагает опутать какими-нибудь брачными надеждами короля Кастилии [81] и привлечь, за определенную ежегодную плату, на свою сторону несколько знатных его царедворцев. Тут встречается главнейшее затруднение [82], какое решение принять касательно Англии, во всяком случае, надо вести с ней переговоры о мире и закрепить наиболее прочными узами всегда непрочный союз с ней; надо называть англичан друзьями, а рассматривать как недругов. Поэтому следует всегда держать наготове, как на

карауле, шотландцев [83], имея их постоянно в виду для всяких случайностей, и тотчас выпустить на англичан, если те чуть-чуть зашевелятся. Для этого надо тайно (открытому осуществлению этого мешают союзные договоры) пригласить какого-нибудь знатного изгнанника, который утверждает, что это королевство принадлежит ему, и таким средством обуздывать подозрительного Франции короля. Так вот, повторяю, если бы в такой напряженной обстановке, когда столько выдающихся мужей предлагают наперерыв свои планы для войны, встал вдруг я, ничтожный человечек, и предложил повернуть паруса обратно [84], посоветовал оставить Италию и сказал бы, что надо сидеть дома, так как и одно Французское королевство слишком велико, чтобы им мог надлежаще управлять один человек, а потому пусть король откажется от мысли и расчетов на приобретение других земель, как ко мне отнеслись бы? Затем я мог бы предложить их вниманию постановления ахорийцев [85], народа, живущего к юго-востоку напротив острова Утопии. Именно эти ахорийцы вели когда-то войну, чтобы добыть своему королю другое королевство, которое, как он утверждал, должно было принадлежать ему по наследству в силу старинных уз свойства.

Добившись, наконец, этого королевства, ахорийцы сразу увидели, что удержать его стоит отнюдь не меньше труда, чем сколько они потратили для его приобретения: новые подданные были постоянно недовольны ахорийцами или подвергались иноземным набегам, поэтому надо было все время воевать или за них, или против

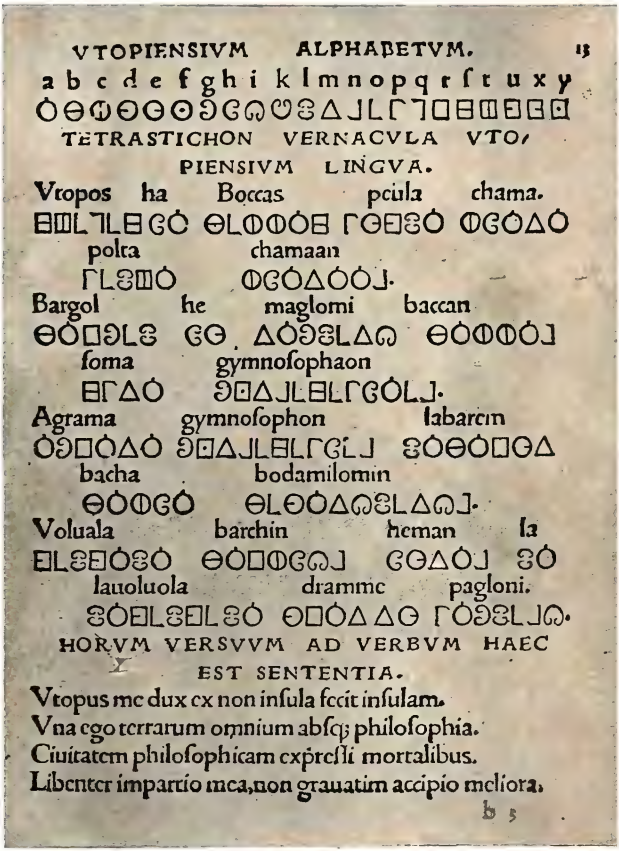
них, и никогда не представлялось возможности распустить войско; а между тем собственная страна ахорийцев подвергалась разграблению, деньги уплывали за границу, они проливали свою кровь ради ничтожной и притом чужой славы, мир не делался нисколько крепче, война испортила нравы внутри государства, жители прониклись страстью к разбоям; убийства укрепили в них наглую дерзость; законы стали предметом презрения. Между тем царь, внимание которого развлекалось между двумя царствами, не мог сосредоточиться на котором-нибудь одном из них. Напоследок ахорийцы, видя, что этим сильным бедствиям не предвидится никакого конца, в результате совещания очень вежливо предложили своему королю удержать за собою одно, какое он хочет, царство, так как на два у него не хватит власти. Они говорили, что их слишком много для того, чтобы ими могла управлять половина короля, а, с другой стороны, никто не согласится на то, чтобы даже погонщик мулов у него был общий с другим хозяином. Таким образом, этот благодушный монарх принужден был предоставить новое царство одному из друзей, который в скором времени был изгнан, а сам удовольствовался старым.

Так вот, если бы после истории об ахорийцах я указал королю, что все эти воинственные предприятия, которые по его вине вносят замешательство в жизнь стольких народов, истощат его казну, разорят подданных, а могут в силу какой-либо случайности кончиться ничем, и предложил бы ему заботиться о своем унаследованном от дедов королевстве, насколько

возможно украшать его, привести его в самое цветущее состояние, любить своих подданных, снискать их любовь, жить одною с ними жизнью, управлять ими мягко и оставить в покое другие государства, раз то, которое ему досталось, более чем достаточно по своей величине,— как ты думаешь, друг Мор, с каким настроением принята была бы подобная речь?"

„Разумеется, не очень благосклонно",— отвечаю я.

„Ну так пойдем дальше,— продолжает он.— Допустим, что советники какого-либо короля в беседе с ним обсуждают и измышляют средства, как ему увеличить казну. Один советует повысить стоимость монеты [86], когда надо будет платить деньги, и, с другой стороны, понизить ценность ее ниже нормы, когда надо будет собирать капитал,— таким образом можно будет заплатить большую сумму малым количеством денег и за малую сумму приобрести много. Другой внушает притворно готовиться к войне и под этим предлогом собирать деньги, а устроив это, заключить торжественный мир с религиозными обрядами и создать этим в глазах жалкой черни такое впечатление, что вот, мол, благочестивый государь из жалости к человечеству прекратил кровопролитие [87]. Третий приводит ему на мысль какие-то старинные съеденные червями законы [88], устаревшие от долгого неприменения их; так как никто не помнит об их издании, то они нарушены всеми, за что следует взыскивать штраф; доход от этого будет обильнее и почетнее всякого другого, так как на этом будет лежать личина справедливости.


VTOPIENSIVM ALPHABETVM. 13

a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x y

TETRASTICHON VERNACVLA VTO-
PIENSIVM LINGVA.

Vtopos ha Boccas pcula chama.

polca chamaan

Bargol he maglomi baccan

ſoma gymnoſophaon

Agrama gymnoſophon labarem

bacha bodamilomin

Voluala barchin heman la

lauoluola dramme pagloni.

HORVM VERSVVM AD VERBVM HAEC
EST SENTENTIA.

Vtopus me dux ex non inſula fecit inſulam.
Vna ego terrarum omnium abſq; philoſophia.
Ciuitatem philoſophicam expreſſi mortalibus.
Libenter impartio mea, non grauatim accipio meliora.

b 5

Алфавит утопийцев

(Из Базельского издания «Утопии» 1518 г.)

Четвертый предлагает запретить, под угрозой больших штрафов, многое, особенно такое, что идет в разрез с народными интересами [89], а потом поделиться полученными деньгами с теми, чьим выгодам наиболее препятствует этот указ; таким образом можно снискать расположение народа и получить двойную выгоду: с одной стороны, штрафам подвергаются только те, кого загнала в эти сети алчность к наживе, а с другой — дорогая цена на привилегии стоит в полном соответствии с прекрасными нравственными качествами государя, который с трудом дарует какому-нибудь частному лицу что-либо идущее в разрез с выгодами народа, да и то не иначе, как по высокой цене. Пятый убеждает привлечь на свою сторону судей, чтобы они в решении всякого дела принимали во внимание права короля; кроме того их следует позвать во дворец и приглашать разбирать дела в своем присутствии; тогда ни одно дело короля не будет настолько несправедливым, чтобы кто-нибудь из судей — или из желания противоречить, или из стыда повторить то же самое, или с целью снискать милости властелина — не нашел в этом процессе какой-нибудь щели, через которую могла бы проскользнуть какая-нибудь кляуза; таким образом при разногласии судей дело, само по себе вполне очевидное, возбуждает обсуждение и истина вызывает споры, а это как раз предоставляет королю повод для истолкования закона в свою пользу; остальные присоединятся к этому или из стыда, или из страха; поэтому в результате с трибунала бестрепетно произносится соответственный приговор; ведь

при подаче голоса за государя предлог всегда найдется: для этого достаточно, чтобы на его стороне были или справедливость, или слова закона, или запутанность смысла документа, или, наконец, то, что в глазах благочестивых судей стоит выше законов, — неоспоримая прерогатива[90] государя. Все эти советники вполне единодушно и согласно признают следующие положения: правильность изречения Красса[91], что никакого количества золота не достаточно для государя, которому надо содержать войско; затем король даже при самом сильном своем желании ни в чем не может поступать несправедливо, потому что все и у всех принадлежит ему, как и самые люди, а у каждого имеется собственность лишь настолько, насколько ее не отняла у него королевская милость; при этом для государя очень важно, чтобы такой собственности было возможно меньше, потому что главный оплот его власти заключается в том, чтобы не дать народу избаловаться от богатства и свободы: при таком положении люди не очень-то мирятся с жестокими и несправедливыми приказаниями, между тем как, наоборот, нищета и недостаток притупляют настроение, приучают к терпению и отнимают у угнетенных благородный дух революции[92]. И вот тут опять поднимусь я и стану спорить, что все эти советы для короля и бесчестны, и гибельны, так как не только честь его, но и его безопасность заключается скорее в благосостоянии народа, чем в собственной казне короля. Затем я покажу, что они выбирают короля для себя, а не для него самого, именно, чтобы, бла-

годаря его труду и расположению, жить в благополучии и безопасности от обид, и королю подобает больше заботиться о том, чтобы хорошо было народу, а не ему самому; таким же образом на обязанности пастуха [93], поскольку он является овчаром, лежит скорее питать овец, чем себя самого. Если, далее, советники полагают, что нищета народа служит охраной мира, то они жестоко ошибаются по самой сути дела. Действительно, где можно найти больше ссор, как не среди нищих? Кто интенсивнее стремится к перевороту, как не тот, кому отнюдь не нравится существующий строй жизни? У кого, наконец, проявятся более дерзкие порывы привести все в замешательство, с надеждой откуда-нибудь поживиться, как не у того, кому уже нечего более терять? Поэтому если какой-нибудь царь вызывает у своих подданных такое презрение или ненависть, что может удержать их в повиновении, только действуя оскорблениями, грабежом и конфискацией и доводя людей до нищенства, то ему, конечно, лучше будет отказаться от королевства, чем удерживать его такими средствами, при которых, если он и удерживает свой титул властелина, то во всяком случае теряет свое величие. Несовместимо с королевским достоинством проявлять свою власть над нищими, а скорее над людьми достаточными и зажиточными. Это именно и отметил муж ума высокого и благородного, Фабриций [94], в своем ответе, что он предпочитает управлять богачами, а не быть богачом. И, конечно, допускать, чтобы кто-нибудь один жил среди изобилия удовольствий и наслаждений,

а другие повсюду стонали и плакали, это значит быть сторожем не королевства, а тюрьмы. Наконец, как полным неучем является тот врач, который умеет лечить болезнь только болезнью же, так и тот, кто не может исправить жизнь граждан другим путем, как только отнимая у них блага жизни, должен признаться в своем неумении управлять людьми свободными; мало того, ему следует изменить свою инертность или высокомерие: этими пороками он вызовет у народа или презрение, или ненависть; он должен, никому не вредя, жить на свои средства, сводить расход с приходом, обуздывать злодеяния, чтобы правильным наставлением подданных скорее предупреждать злодеяния, чем давать им усиливаться с целью потом карать их; не следует зря возобновлять законы, отмененные обычаем, особенно такие, которые давно устарели и никогда не были желательными; никогда под предлогом штрафа не следует брать ничего такого, чего судья не позволил бы получить ни одному частному лицу, как добытого несправедливо и обманно. Наконец, я мог бы предложить на этом совещании закон макарийцев [95], которые также живут не очень далеко от Утопии. Именно, их король в первый день по вступлении на престол, после торжественных жертвоприношений, дает клятвенное обязательство не иметь никогда в казне одновременно свыше тысячи фунтов золота или серебра, равного по цене этому золоту [96]. Говорят, что этот закон установил один превосходный король, больше заботившийся о благе родины, чем о своих богатствах. Этот закон должен был слу-

жить преградой для накопления таких огромных денег, которые могли бы вызвать недостаток их в народе. Король видел, что этого капитала будет достаточно, если ему придется бороться с мятежниками или его королевству с вражеским нашествием, но этой суммы не хватит, чтобы создать соответственное настроение для нападения на чужие владения. Это было главной причиной для издания закона; вторая, по мнению короля, заключалась в предупреждении недостатка в деньгах для повседневного обращения их в народе; а так как королю необходимо выплачивать все то, что наросло в казне выше указанного законного размера, то в силу этого ему не надо будет искать повода к причинению обид подданным. Такой король будет внушать страх злодеям и приобретет любовь хороших граждан. Так вот если эти и подобные положения я буду навязывать людям, сильно склонным к совершенно обратному образу мыслей, то не выступлю ли я в роли проповедника перед глухими?"

„Несомненно, даже и перед сильно глухими,— отвечаю я.— Я, право, нисколько не удивлюсь этому, да, говоря по правде, мне и не представляется необходимым навязывать подобные разговоры и давать такие советы, про которые ты уверен, что их никогда не примут. Действительно, какую пользу может принести или каким образом может повлиять такая необычная речь на настроение тех, в чьем сердце заранее поместилось и засело совершенно противоположное убеждение? Среди близких приятелей в дружеской беседе подобная схоластическая филосо-

фия[97] не лишена приятности; но в советах государей, где обсуждаются дела важные и с полным авторитетом, для этого нет места".— „Это,— возразил он,— то самое, что я говорил: у государей нет места для философии".— „Да,— отвечаю я,— для той схоластической, которая считает, что ей подходит все и везде. Но есть и другая философия, более житейская, которая знает свою сцену действия и, приспособляясь к ней, в той пьесе, которая у нее в руках, выдерживает свою роль стройно и благопристойно. Вот ее-то тебе и надо применять. Иначе допустим, что играют какую-нибудь пьесу Плавта[98], где жалкие рабы[99] говорят вздор друг с другом, а ты вдруг выйдешь в философском одеянии на сцену впереди всех и начнешь декламировать из „Октавии"[100] то место, где Сенека рассуждает с Нероном; разве не лучше будет изобразить лицо без речей, чем, декламируя неподходящее, устраивать подобную трагикомедию? Действительно, ты испортишь и исказишь данную пьесу, припутывая к ней противоположный материал, даже и в том случае, если твои прибавки будут лучше оригинала. Играй возможно лучше ту пьесу, которая у тебя под рукою, и не приводи ее в совершенный беспорядок тем, что тебе приходит на память из другой, хотя бы и более изящной.

Так обстоит дело в государстве, так и на совещаниях у государей. Если нельзя вырвать с корнем превратные мнения, если ты по своему искреннему убеждению не в силах излечить прочно вошедшие в житейский обиход пороки, то из-за этого не следует покидать го-

сударственных дел, как нельзя оставлять корабля в бурю, раз ты не можешь удержать ветров. Но нельзя насильно навязывать новые и необычные рассуждения людям, держащимся противоположных убеждений, так как эти рассуждения не будут иметь у них никакого веса; но тебе надо пытаться стремиться окольным путем, чтобы по мере сил все выполнить удачно, а то, чего ты не можешь повернуть на хорошее, сделать по крайней мере возможно менее плохим. Ведь нельзя, чтобы все было хорошо, раз не хороши все люди, а я не ожидаю, что это случится всего через несколько лет в будущем".

Рафаил ответил: „Из этого средства не может выйти ничего другого, как то, что, стремясь вылечить бешенство других, я сам с ними сойду с ума. Ведь раз я хочу говорить правду, мне и необходимо это. Конечно, я не знаю, дело ли философа говорить ложь. Правда, эта моя речь, может быть, будет неприятна и тягостна моим противникам, но я все же не вижу, почему она должна казаться до нелепости необычной. Допустим, что я говорил бы то, что воображает Платон в своем „Государстве" [101] или что делают утопийцы в своем; хотя это и было бы лучше, как оно и есть на самом деле, но все же могло бы показаться чуждым для нас, потому что здесь у каждого есть частная собственность, а там все общее.

Что касается моей речи, то она предостерегает от опасностей и указывает на них; поэтому она может быть неприятной только для тех, кто, идя по противоположной дороге, решил сбросить вместе с собою в пропасть и других;

иначе что в моих словах было такого, чего нельзя было бы или не следовало сказать везде? Действительно, если надо опускать, как чуждое и нелепое, все то, чему порочные нравы людей придали вид необычного, то и у христиан надо скрывать многое из учения христова, а он не только запретил скрывать это, но велел даже открыто на крышах [102] проповедывать своим то, что нашептал им на ухо. Огромная часть этого гораздо более чужда современным нравам, чем была моя речь. Правда, проповедники, люди хитрые, следуя, думаю, твоему совету и видя, что для людей затруднительно приспособить свои нравы к правилам христовым, приладили его учение к нравам, как свинцовую линейку [103], чтобы, разумеется, хоть каким-нибудь образом сочетать их. Я вижу, что они добились этим только того, что дурным людям живется беззаботнее; и я, конечно, добьюсь в советах государей столь же больших результатов. Или я буду держаться мнений, противоположных высказываемым, а это будет все равно, как если бы у меня не было никаких, или я буду думать то же самое и стану, по словам теренциева Микиона [104], помощником их безумия. Я не постигаю, что значит тот окольный путь, которым, по-твоему, надо стремиться к тому, чтобы, если нельзя всего сделать хорошим, то хоть удачно повернуть это и превратить, насколько возможно, в наименьшее зло. Там нет места для того, чтобы прятаться или смотреть сквозь пальцы; надо открыто одобрять самые скверные мнения и подписываться под самыми губительными решениями. Но даже скупая похвала

бесчестным постановлениям была бы достойна только шпиона и почти что предателя.

Далее, попадая в такую среду, которая легче может испортить даже прекрасного человека, чем исправиться сама, ты не можешь встретить ничего такого, где ты мог бы принести какую-нибудь пользу. Извращенные обычаи такого общества или испортят тебя, или, оставаясь непорочным и невинным, ты будешь служить прикрытием чужой злобы и глупости; нечего и говорить тут о каких-либо достижениях путем упомянутой окольной дороги.

Поэтому Платон в очень красивом сравнении [105] поясняет правильность воздержания философов от занятий государственными делами. Именно, философы видят, что, высыпав на улицы, народ попал под проливной дождь, и не могут уговорить его укрыться от дождя — зайти под крышу; и вот, зная, что если они выйдут на улицу, то ничего не добьются кроме того, что промокнут вместе, они остаются в доме, довольствуясь тем, что, если не могут вылечить чужую глупость, то сами по крайней мере находятся в безопасности.

Впрочем, друг Мор, если сказать тебе по правде мое мнение, так, по-моему, где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел; иначе придется считать правильным то, что все лучшее достается самым дурным, или удачным то, что все разделено очень немногим, да и те содержатся отнюдь не достаточно, остальные же решительно бедствуют.

Поэтому я, с одной стороны, обсуждаю сам с собою мудрейшие и святейшие учреждения утопийцев, у которых государство управляется при помощи столь немногих законов, но так успешно, что и добродетель встречает надлежащую оценку и, несмотря на равенство имущества, во всем замечается всеобщее благоденствие. С другой стороны, наоборот, я сравниваю с их нравами столько других наций, которые постоянно создают у себя порядок, но никогда ни одна из них не достигает его; всякий называет там своей собственностью то, что ему попало; каждый день издаются там многочисленные законы, но они бессильны обеспечить достижение или охрану или отграничение от других того, что каждый в свою очередь именует своей собственностью, а это легко доказывают бесконечные и постоянно возникающие, а с другой стороны — никогда не оканчивающиеся процессы. Так вот, повторяю, когда я сам с собою размышляю об этом, я делаюсь более справедливым к Платону и менее удивляюсь его нежеланию[106] давать какие-либо законы тем народам, которые отвергали законы, распределяющие все преимущества между всеми поровну. Этот мудрец легко усмотрел, что один единственный путь к благополучию общества заключается в объявлении имущественного равенства, а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, где у каждого есть своя собственность. Именно, если каждый на определенных законных основаниях старается присвоить себе сколько может, то, каково бы ни было имущественное изобилие, все оно попадает немно-

гим; а они, разделив его между собою, оставляют прочим одну нужду, и обычно бывает так, что одни вполне заслуживают жребия других: именно, первые хищны, бесчестны и никуда не годны, а вторые, наоборот, люди скромные и простые и повседневным трудом приносят больше пользы обществу, чем себе лично.

Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но если она останется, то и у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. Я, правда, допускаю, что оно может быть до известной степени облегчено, но категорически утверждаю, что его нельзя совершенно уничтожить. Например, можно установить следующее: никто не должен иметь земельной собственности выше известного предела; сумма денежного имущества каждого может быть ограничена законами; могут быть изданы известные законы, запрещающие королю чрезмерно проявлять свою власть, а народу быть излишне своевольным; можно запретить приобретать должности подкупом или продажей; прохождение этих должностей не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удобный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путем обманов и грабежей, и возникает необходимость назначать на эти должности людей богатых, тогда как люди умные выполнили бы эти обязанности гораздо лучше. Подобные законы, повторяю, могут об-

легчить и смягчить эти бедствия точно так же, как постоянные припарки обычно подкрепляют тело безнадежно больного. Но, пока у каждого есть личная собственность, нет совершенно никакой надежды на выздоровление и возвращение организма в хорошее состояние. Мало того, заботясь об исцелении одной его части, ты растравляешь рану в других. Таким образом от лечения одного взаимно рождается болезнь другого, раз никому нельзя ничего прибавить без отнятия у другого".

„А мне кажется наоборот,— возражаю я,— никогда нельзя жить богато там, где все общее. Каким образом может получиться изобилие продуктов, если каждый будет уклоняться от работы, так как его не вынуждает к ней расчет на личную прибыль, а с другой стороны, твердая надежда на чужой труд дает возможность лениться? А когда людей будет подстрекать недостаток в продуктах и никакой закон не сможет охранять как личную собственность приобретенное каждым, то не будут ли тогда люди по необходимости страдать от постоянных кровопролитий и беспорядков? И это осуществится тем более, что исчезнет всякое уважение и почтение к властям; я не могу даже представить, какое место найдется для них у таких людей, между которыми „нет никакого различия".— „Я не удивляюсь,— ответил Рафаил,— этому твоему мнению, так как ты совершенно не можешь вообразить такого положения или представляешь его ложно. А вот если бы ты побыл со мною в Утопии и сам посмотрел на их нравы и законы, как это сделал я, который прожил там

пять лет и никогда не уехал бы оттуда, если бы не руководился желанием поведать об этом новом мире,— ты бы вполне признал, что нигде в другом месте ты не видал народа с более правильным устройством, чем там".

„Разумеется, — заметил Петр Эгидий, — ты с трудом можешь убедить меня, что народ с лучшим устройством находится в новом мире, а не в этом известном нам; по-моему, здесь и умы нисколько не хуже, и государства постарше, чем там, да и долгий опыт придумал у нас много удобств для жизни людей; я не распространяюсь уже о некоторых случайных наших открытиях, для измышления которых не могло бы хватить никакого ума".

„Что касается древности их государств,— возразил Рафаил,— то ты мог бы судить правильнее, если бы прочитал историю тех стран; если ей следует верить, то у них города были раньше, чем у нас люди. Далее, и там и тут могло возникнуть все то, что до сих пор изобрел ум или добыл случай. Впрочем, я во всяком случае полагаю, что как мы превосходим их талантливостью, так они все же оставляют нас далеко позади своим усердием и трудолюбием. По свидетельству их летописей, до прибытия туда нашего корабля они ничего никогда не слыхали о наших делах (они называют нас „живущими за линией равноденствия"). Правда, некогда, тысяч двести лет тому назад, один корабль, который занесла туда буря, погиб от крушения у острова Утопии; были выброшены на берег какие-то римляне и египтяне, которые никогда потом оттуда не вернулись. Посмотри теперь,

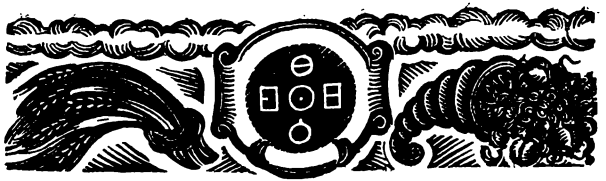
как умело воспользовалось этим удобным случаем их трудолюбие. От выброшенных чужестранцев утопийцы научились всякого рода искусствам, существовавшим в Римской империи и могущим принести какую-нибудь пользу, или, узнав только зародыши этих искусств, они изобрели их дополнительно. Столько хорошего принесло им то обстоятельство, что некоторые от нас всего один раз были занесены к ним. А если бы какой-нибудь подобный случай загнал ранее кого-нибудь оттуда к нам, то это так же изгладилось бы из памяти, как исчезнет, вероятно, у потомков то, что я когда-то был там. И как они сразу после одной встречи усвоили себе все то, что нами было хорошо придумано, так, думаю, пройдет много времени, прежде чем мы узнаем какое-либо из их учреждений, превосходящее наши. Причиной этого, полагаю, служит одно то, что, хотя мы не стоим ниже их ни по уму, ни по средствам, все же их государство имеет более разумный по сравнению с нами способ правления и процветает среди большего счастья".

„Поэтому, друг Рафаил,— говорю я,— убедительно прошу тебя — опиши нам этот остров; не старайся быть кратким, но расскажи по порядку про его земли, реки, города, жителей, их нравы, учреждения, законы и, наконец, про все, с чем ты признаешь желательным ознакомить нас, а ты должен признать, что мы желаем всего, чего еще не знаем".— „Исполню это с особой охотой,— ответил он,— так как хорошо все помню. Но этот предмет потребует свободного времени".—„Так пойдем,—отвечаю,—

в дом пообедать, а потом распорядимся временем по своему усмотрению“.— „Хорошо“,— сказал он. Таким образом мы вошли в дом и стали обедать.

После обеда мы вернулись на то же место, уселись на той же скамейке и отдали приказ слугам, чтобы нам никто не мешал. Затем я и Петр Эгидий уговариваем Рафаила исполнить свое обещание. Когда он заметил наше напряженное внимание и сильное желание послушать, то, посидев некоторое время молча и в раздумье, начал следующим образом.

Вторая книга беседы,
которую вел
Рафаил Гитлодей,
о наилучшем состоянии государства,
в передаче
лондонского гражданина и виконта,
Томаса Мора



Остров утопийцев[107] в средней своей части, где он всего шире, простирается на двести миль[108], затем на значительном протяжении эта ширина немного уменьшается, а в направлении к концам остров с обеих сторон мало-по-малу суживается[109]. Если бы эти концы можно было обвести циркулем, то получилась бы окружность в пятьсот миль. Они придают острову вид нарождающегося месяца. Рога его разделены заливом, имеющим протяжение приблизительно в одиннадцать миль. На всем этом огромном расстоянии вода, окруженная со всех сторон землей, защищена от ветров, наподобие большого озера, скорее стоячего, чем бурного; а почти вся внутренняя часть этой страны служит гаванью, рассылающей, к большой выгоде людей, по всем направлениям корабли. Вход в залив очень опасен из-за мелей с одной стороны и утесов с другой. Почти на середине этого расстояния находится одна скала, которая выступает из воды, вследствие чего она не может принести вреда. На ней выстроена башня, занятая караулом. Остальные скалы скрыты под волнами и губительны. Проходы между ними

известны только утопийцам, и поэтому не зря устроено так, что всякий иностранец может проникнуть в залив только с проводником от них. Впрочем, и для самих утопийцев вход не лишен опасности без некоторых сигналов, направляющих путь к берегу. Если перенести их в другие места, то легко можно погубить какой угодно по численности неприятельский флот. На другой стороне острова гавани встречаются довольно часто. Но повсюду спуск на землю настолько укреплен природою или искусством, что немногие защитники со стороны суши могут отразить огромные войска.

Впрочем, как говорят предания и как показывает самый облик земли, эта страна когда-то не была окружена морем. Но Утоп, чье победоносное имя носит остров (раньше этого он назывался Абракса[110]), сразу же при первом прибытии после победы распорядился прорыть пятнадцать миль, на протяжении которых страна прилегала к материку, и провел море вокруг земли; этот же Утоп довел грубый и дикий народ до такой степени культуры и образованности, что теперь он почти превосходит в этом отношении прочих смертных. Не желая, чтобы упомянутая работа считалась позорной, Утоп привлек к ней не только жителей, но кроме того и своих солдат. При распределении труда между такой массой людей он был закончен с невероятной быстротой. Этот успех изумил и поразил ужасом соседей, которые вначале смеялись над бесполезностью предприятия.

На острове пятьдесят четыре[111] города[112], все обширные и великолепные; язык, нравы, учре-

ждения и законы у них совершенно одинаковые. Расположение их всех также одинаково; одинакова повсюду и внешность, насколько это допускает местность. Самые близкие из них отстоят друг от друга на двадцать четыре мили. С другой стороны, ни один город не является настолько уединенным, чтобы из него нельзя было добраться до другого пешком за один день.

Из каждого города три старых и опытных гражданина ежегодно собираются в Амауроте[113] для обсуждения общих дел острова. Город Амаурот считается первым и главенствующим, так как, находясь в центре страны, он по своему расположению удобен для представителей всех областей. Поля распределены между городами так удачно, что каждый в отдельности не имеет ни с какой стороны менее двадцати миль[114] земли, а с одной стороны даже и значительно больше, именно с той, где города дальше всего разъединены друг с другом. Ни у одного города нет желания раздвинуть свои пределы, так как жители его считают себя скорее земледельцами, чем господами этих владений.

В деревне на всех полях имеются удобно расположенные дома, снабженные земледельческими орудиями.

В домах этих живут граждане, переселяющиеся туда по очереди. Ни одна деревенская семья[115] не имеет в своем составе менее сорока человек — мужчин и женщин, кроме двух приписных рабов[116]. Во главе всех стоят отец и мать семейства, люди уважаемые и пожилые, а во главе каждых тридцати семейств — один филарх[117]. Из каждого семейства двадцать че-

ловек ежегодно переселяются обратно в город; это те, кто пробыли в деревне два года. Их место занимают столько же новых из города, чтобы их обучали пробывшие в деревне год и потому более опытные в сельском хозяйстве; эти приезжие на следующий год должны учить других, чтобы в снабжении хлебом не произошло какой-либо заминки, если все одинаково будут новичками и несведущими в земледелии. Хотя этот способ обновления земледельцев является общепринятым, чтобы никому не приходилось против воли слишком долго подряд вести суровую жизнь, однако многие, имеющие природную склонность к деревенской жизни, выпрашивают себе большее число лет. Земледельцы обрабатывают землю, кормят скот, заготовляют дрова и отвозят их в город каким удобно путем, по суше или по морю. Цыплят они выращивают в беспредельном количестве, с изумительным уменьем. Они не подкладывают под курицу яиц, но согревают большое количество их равномерной теплотою[118] и таким образом оживляют и выращивают. Едва лишь цыплята вылупятся из скорлупы, как уже бегают за людьми, словно за матками, и признают их.

Лошадей они держат очень немногих, при этом только ретивых и исключительно для упражнения молодежи в верховой езде. А весь труд по земледелию или перевозке несут быки. Утопийцы признают, что они уступают лошадям в рыси, но, с другой стороны, берут над ними верх выносливостью; кроме того они не считают быков подверженными многим болезням, и содержание их стоит меньших затрат и расходов.

Зерно они сеют только ради хлеба, а вино пьют или виноградное, или грушевое, или, наконец, иногда чистую воду, часто также отвар меда или солодкового корня, которого у них немалое количество. Хотя они определяют (и делают это весьма точно), сколько хлеба потребляет город и прилегающий к нему округ, однако они и посевы делают и скот выращивают в гораздо большем количестве, чем это требуется для их нужд, имея в виду поделиться остатком с соседями. Все что им нужно и чего нет в деревне, все подобные предметы они просят у города и получают от тамошних властей очень легко, без какого-либо обмена. В город они сходятся каждый месяц на праздник. Когда настает день уборки урожая, то филархи земледельцев сообщают городским властям, какое количество граждан надо им прислать; так как эта толпа работников является во-время к самому сроку, то они почти в один ясный день справляются со всей уборкой.

О городах и преимущественно об Амауроте

Кто узнает один город, тот узнает все: до такой степени сильно похожи все они друг на друга, поскольку этому не мешает природа местности. Поэтому я изображу один какой-либо город (да и не очень важно какой именно). Но какой же другой предпочтительнее Амаурота? Ни один город не представляется достойнее его, так как остальные уступают ему, как местопребыванию сената; вместе с тем ни один город

не знаком мне более его, потому что я прожил в нем пять лет подряд.

Так вот Амаурот расположен на отлогом скате горы и по форме представляет почти квадрат. Именно, начавшись в ширину несколько ниже вершины холма, он простирается на две мили до реки Анидра[119], а вдоль берега ее длина города несколько больше.

Анидр начинается в восьмидесяти милях выше Амаурота, из небольшого родника; но, усиленный от притока других рек, в числе их двух даже средней величины, он перед самым городом расширяется до полумили, а затем, увеличившись еще более, он протекает шестьдесят миль и впадает в океан. На всем этом протяжении между городом и морем и даже на несколько миль выше города на быстрой реке чередуются шесть часов подряд прилив и отлив. Во время прилива море оттесняет реку назад и заполняет все русло Анидра своими волнами на тридцать миль в длину. Тут и несколько дальше оно портит соленой водой струи реки; затем она мало-по-малу становится пресной, протекает по городу неиспорченной и, будучи чистой и без примесей, почти у самого устья догоняет в свою очередь сбывающую воду.

С противоположным берегом реки город соединен мостом[120] не на деревянных столбах и сваях, а на прекрасных каменных арках. Мост устроен с той стороны, которая дальше всего отстоит от моря, так что корабли могут без вреда проходить мимо всей этой части города. Есть там, кроме того, и другая река[121], правда, небольшая, но очень тихая и привлекательная,

Зарождаясь на той же самой горе, на которой расположен город, она протекает по склонам посредине его и соединяется с Анидром. Так как она начинается недалеко за городом, жители Амаурота соединили ее с ним, охватив укреплениями, чтобы в случае какого-либо вражеского нашествия воду нельзя было ни перехватить, ни отвести, ни испортить. Отсюда по кирпичным трубам вода стекает в различных направлениях к нижним частям города. Там, где местность не позволяет устроить этого, собирают в объемистые цистерны дождевую воду, приносящую такую же пользу.

Город опоясан высокой и широкой стеной с частыми башнями и бойницами. С трех сторон укрепления окружены сухим рвом, но широким, глубоким и заросшим оградою из терновника; с четвертой стороны ров заменяет сама река. Расположение площадей удобно как для проезда, так и для защиты от ветров. Здания отнюдь не грязны. Длинный и непрерывный ряд их во всю улицу бросается в глаза зрителю обращенными к нему фасадами. Эти фасады разделяет улица в двадцать футов[122] ширины. К задним частям домов на всем протяжении улицы прилегает сад, широкий и отовсюду загороженный задами улиц. Нет ни одного дома, у которого бы не было двух дверей: спереди — на улицу и сзади — в сад. Двери двустворчатые, скоро открываются при легком нажиме и затем, затворяясь сами, впускают кого угодно[123] — до такой степени у утопийцев устранена частная собственность. Даже самые дома они каждые десять лет меняют по жребию.

Эти сады они ценят высоко. Здесь имеются виноград, плоды, травы, цветы; все содержится в таком блестящем виде и так возделано, что нигде не видал я бо̀льшего плодородия, бо̀льшего изящества. В этом отношении усердие их разжигается не только самым удовольствием, но и взаимным соревнованием улиц об уходе каждой за своим садом. И во всяком случае нелегко можно найти в целом городе что-либо более пригодное для пользы граждан или для удовольствия. Поэтому основатель города ни о чем, повидимому, не заботился в такой степени, как об этих садах.

Именно, как говорят, весь этот план города уже с самого начала начертан был Утопом. Но украшение и прочее убранство,— для чего, как он видел, не хватит жизни одного человека,— он оставил добавить потомкам. Поэтому в их летописях, которые они сохраняют в старательной и тщательной записи, начиная с взятия острова за период времени в 1760 лет, сказано, что дома были первоначально низкие, напоминавшие хижины и шалаши, делались без разбора из всякого дерева, стены обмазывались глиной, крыши сводились кверху острием и были соломенные. А теперь каждый дом бросается в глаза своей формой и имеет три этажа. Стены построены снаружи из камня, песчаника или кирпича, а изнутри полые места засыпаны щебнем. Крыши выведены плоские и покрыты какой-то замазкой, ничего не стоящей, но такого состава, что она не поддается огню, а по сопротивлению бурям превосходит свинец. Окна от ветров защищены стеклом, которое там в

очень большом ходу [124], а иногда также тонким полотном, смазанным прозрачным маслом или янтарем, что представляет двойную выгоду; именно, таким образом они пропускают больше света и менее доступны ветрам.

О должностных лицах

Каждые тридцать семейств избирают себе ежегодно должностное лицо, именуемое на их прежнем языке сифогрантом, а на новом — филархом. Во главе десяти сифогрантов с их семействами стоит человек, называемый по-старинному транибор [125], а ныне протофиларх.

Все сифогранты, числом двести, после клятвы, что они выберут того, кого признают наиболее пригодным, тайным голосованием намечают князя [126], именно, одного из тех четырех кандидатов, которых им предложил народ. Каждая четвертая часть города избирает одного и рекомендует его сенату. Должность князя несменяема в течение всей его жизни, если этому не помешает подозрение в стремлении к тирании. Траниборов они избирают ежегодно, но не меняют их зря. Все остальные должностные лица избираются только на год. Траниборы каждые три дня, а иногда, если потребуют обстоятельства, и чаще, ходят на совещания с князем. Они совещаются о делах общественных и своевременно прекращают, если какие есть, частные споры, которых там чрезвычайно мало. Из сифогрантов постоянно допускаются в сенат двое и всякий день различные. Имеется постановление, чтобы из дел, касающихся рес-

публики, ни одно не приводилось в исполнение, если оно не подвергалось обсуждению в сенате за три дня до принятия решения. Уголовным преступлением считается принимать решения по общественным делам помимо сената или народного собрания. Эта мера, говорят, принята с тою целью, чтобы нелегко было переменить государственный строй путем заговора князя с траниборами и угнетения народа тиранией. Поэтому всякое дело [127], представляющее значительную важность, докладывается собранию сифогрантов, которые сообщают его семействам своего отдела, а затем совещаются между собою и свое решение сообщают сенату. Иногда дело переносится на собрание всего острова. Сенат имеет сверх того и такой обычай, что ни одно из предложений не подвергается обсуждению в тот день, когда оно впервые внесено, но откладывается до следующего заседания сената, чтобы никто не болтал зря первое, что ему взбредет на ум, ибо потом он будет более думать о том, как подкрепить свое первое решение, а не о пользе государства; извращенный и ложный стыд заставит его пожертвовать скорее общественным благом, нежели мнением о себе, что якобы вначале он мало позаботился о том, о чем ему надлежало позаботиться, а именно — говорить лучше обдуманно, чем быстро.

О занятии ремеслами

У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие — земледелие, от которого никто не избавлен. Ему учатся все с детства, отчасти в

школе путем усвоения теории, отчасти же на ближайших к городу полях, куда детей выводят как бы для игры, между тем как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения также и работают.

Кроме земледелия (которым, как я сказал, занимаются все), каждый изучает какое-либо одно ремесло, как специальное. Это обыкновенно или пряжа шерсти, или выделка льна, или ремесло каменщиков или рабочих по металлу и по дереву. Можно сказать, что кроме перечисленных нет никакого иного занятия, которое имело бы у них значение, достойное упоминания. Так, что касается одежды, то за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или другого пола, равно как у одиноких и состоящих в супружестве, покрой ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре. И вот эту одежду каждая семья приготовляет себе сама. Но из других ремесл всякий изучает какое-либо, и притом не только мужчины, но также и женщины. Впрочем, эти последние, как более слабые, имеют более легкие занятия: они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, более трудные. По большей части каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу: к нему большинство питает склонность от природы. Но если кто имеет влечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь;

при этом не только отец этого лица, но и власти заботятся о том, чтобы передать его солидному и благородному отцу семейства. Кроме того, если кто, изучив одно ремесло, пожелает еще и другого, то получает на это позволение тем же самым способом. Овладев обоими, он занимается которым хочет, если государство не нуждается скорее в каком-либо одном.

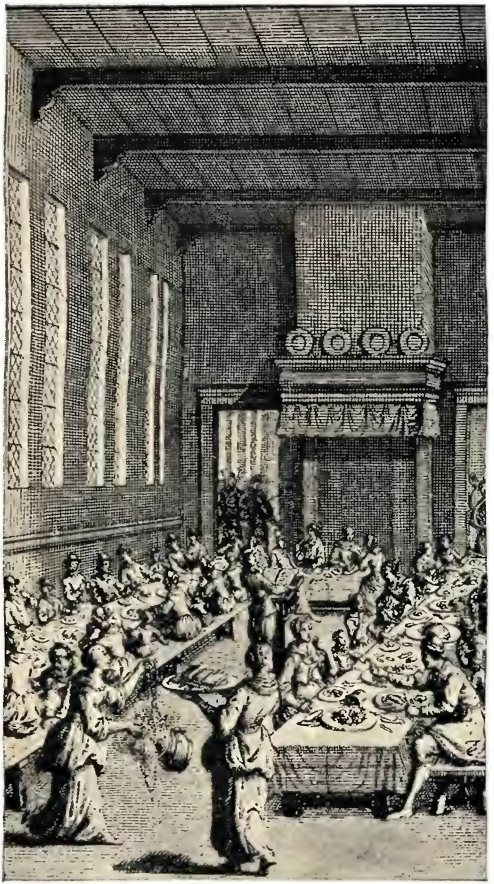
Главное и почти исключительное занятие сифогрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду[128], кроме утопийцев. А они делят день на двадцать четыре равных часа, причисляя сюда и ночь, и отводят для работы только шесть: три до полудня, после чего идут обедать; затем, отдохнув после обеда в течение двух послеполуденных часов, они опять продолжают работу в течение трех часов и заканчивают ее ужином. Так как они считают первый час начиная с полудня, то около восьми идут спать; сон требует восемь часов. Все время, остающееся между часами работы, сна и принятия пищи, предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или лености, а чтобы на свободе от своего ремесла, по лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам[129]. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно, в

предрассветные часы, публичные лекции; участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины всякого звания огромной толпой стекаются для слушания подобных лекций, одни — одних, другие — других, сообразно с естественным влечением каждого. Впрочем, если кто предпочтет посвятить это время своему ремеслу,— а это случается со многими, у кого нет стремления к проникновению в какую-либо науку,— то в этом никто ему не мешает; мало того, такое лицо даже получает похвалу, как приносящее пользу государству.

После ужина они проводят один час в забавах: летом в садах, а зимой в тех общих залах, где совместно кушают. Там они или занимаются музыкой, или отдыхают за разговорами. Что касается игры в кости и других нелепых и гибельных забав подобного рода, то они даже неизвестны утопийцам. Впрочем, у них имеются в ходу две игры, более или менее похожие на игру в шашки[130]: одна — это бой чисел, где одно число ловит другое; другая — в которой пороки в боевом порядке борются с добродетелями[131]. В этой игре в высшей степени умело указуется и раздор пороков между собою и согласие их в борьбе с добродетелями, а также то, какие пороки каким добродетелям противополагаются, с какими силами они оказывают открытое сопротивление, с какими ухищрениями нападают искоса, с помощью чего добродетели ослабляют силы пороков, какими искусствами уклоняются они от их нападений

й, наконец, каким способом та или другая сторона одерживает победу.

Но тут, во избежание дальнейших недоразумений, необходимо более пристально рассмотреть один вопрос. Именно, если только шесть часов уходят на работу[132], то отсюда можно, пожалуй, вывести предположение, что следствием этого является известный недостаток в предметах первой необходимости. Но в действительности этого отнюдь нет; мало того, такое количество времени не только вполне достаточно для запаса всем необходимым для жизни и ее удобств, но дает даже известный остаток. Это будет понятно и вам, если только вы поглубже вдумаетесь, какая огромная часть населения у других народов живет без дела: во-первых, почти все женщины, половина общей массы, а если где женщины заняты работой, то там обычно взамен их храпят мужчины. Вдобавок к этому, какую огромную и какую праздную толпу представляют священники и так называемые чернецы![133] Прикинь сюда всех богачей, особенно владельцев поместий, которых обычно именуют благородными и знатью[134]; причисли к ним челядь, именно, весь этот сброд ливрейных бездельников; присоедини, наконец, крепких и сильных нищих, предающихся праздности под предлогом какой-либо болезни,— и в результате тебе придется признать, что число тех, чьим трудом создается все то, чем пользуются смертные, гораздо меньше, чем ты думал. Поразмысли теперь, сколь немногие из этих лиц заняты необходимыми ремеслами; именно, раз мы все меряем на деньги, то не-



Коммунальчая столовая в Утопии

(Из Амстердамского издания «Утопии» 1715 г.)

избежно должны находить себе применение многие занятия, совершенно пустые и излишние, служащие только роскоши и похоти. Действительно, если бы эту самую толпу, которая теперь занята работой, распределить по тем столь немногим ремеслам, сколь немного требуется их для надлежащего удовлетворения потребностей природы, то при таком обильном производстве, которое неизбежно должно отсюда возникнуть, цены на них, понятно, были бы гораздо дешевле, чем сколько нужно рабочим для поддержки своего существования. Но возьмем всех тех лиц, которые заняты теперь бесполезными ремеслами, и вдобавок всю эту изнывающую от безделья и праздности массу людей, каждый из которых потребляет столько продуктов, производимых трудами других, сколько нужно их для двух изготовителей этих продуктов; так вот, повторяю, если всю совокупность этих лиц поставить на работу, и притом полезную, то можно легко заметить, как немного времени нужно было бы для приготовления в достаточном количестве и даже с избытком всего того, что требуют принципы пользы или удобства (прибавь также — и удовольствия, но только настоящего и естественного).

Очевидность этого подтверждается в Утопии самой действительностью. Именно, там в целом городе с прилегающим к нему округом, из всех мужчин и женщин, годных для работы по своему возрасту и силам, освобождение от нее дается едва пятистам лицам. В числе их сифогранты, хотя и имеющие по закону право не работать, тем не менее не избавляют себя от

труда, желая своим примером побудить остальных охотнее браться за труд. Той же льготой наслаждаются те, кому народ под влиянием рекомендации духовенства и по тайному голосованию сифогрантов дарует навсегда это освобождение для основательного прохождения наук. Если кто из этих лиц обманет возложенную на него надежду, то его удаляют обратно к ремесленникам. И, наоборот, нередко бывает, что какой-нибудь рабочий так усердно занимается науками в упомянутые выше свободные часы и отличается таким большим прилежанием, что освобождается от своего ремесла и продвигается в разряд ученых.

Из этого сословия ученых выбирают послов, духовенство, траниборов и, наконец, самого главу государства, которого на старинном своем языке они именуют барзаном, а на новом адемом[135]. Так как почти вся прочая масса не пребывает в праздности и занята небесполезными ремеслами, то легко можно рассчитать, сколько хороших предметов создают они и в какое небольшое количество часов.

К приведенным мною соображениям присоединяется еще то преимущество, что большинство необходимых ремесл берет у них гораздо меньшее количество труда, чем у других народов. Так, прежде всего постройка или ремонт зданий требует везде непрерывного труда очень многих лиц потому, что мало бережливый наследник допускает постепенное разрушение воздвигнутого отцом. Таким образом то, что можно было сохранить с минимальными издержками, преемник должен восстановлять заново и с боль-

шими затратами. Мало того, часто человек с избалованным вкусом пренебрегает домом, стоившим другому огромных издержек, а когда этот дом, оставленный без ремонта, в короткое время разваливается, то владелец строит себе в другом месте другой, с неменьшими затратами. У утопийцев же, у которых все находится в порядке и государство отличается благоустройством, очень редко приходится выбирать новый участок для постройки домов; рабочие не только быстро исправляют уже имеющиеся повреждения, но даже предупреждают еще только грозящие. Поэтому при малейшей затрате труда здания сохраняются на очень долгое время, и работники этого рода иногда с трудом находят себе предмет для занятий, если не считать того, что они получают приказ временно рубить материал на дому и обтесывать и полировать камни, чтобы, если случится какое задание, оно могло быстро осуществиться.

Далее, обрати внимание на то, какое небольшое количество труда нужно утопийцам для изготовления себе одежды. Во-первых, пока они находятся на работе, они небрежно покрываются кожей или шкурами, которых может хватить на семь лет. Когда они выходят на улицу, то надевают сверху длинный плащ, прикрывающий упомянутую грубую одежду. Цвет этого плаща одинаков на всем острове, и притом это естественный цвет шерсти. Поэтому сукна у них идет не только гораздо меньше, чем где-либо в другом месте, но и изготовление его требует гораздо меньших издержек. На обработку льна труда уходит еще меньше, и потому этот ма-

териал имеет гораздо большее применение. Но в полотне они принимают во внимание исключительно белизну, а в шерстяной ткани — исключительно чистоту. Более тонкая выделка не имеет никакой цены. В результате этого у них каждый довольствуется одним платьем и притом обычно на два года, в других же местах одному человеку не хватает четырех или пяти верхних шерстяных одежд, да еще разноцветных, а вдобавок требуется столько же шелковых рубашек, иным же неженкам мало и десяти. Для утопийца нет никаких оснований претендовать на большее количество платья: добившись его, он не получит большей защиты от холода, и его одежда не будет ни на волос нарядней других.

Отсюда, так как все они заняты полезным делом и для выполнения его им достаточно лишь небольшое количество труда, то в итоге у них получается изобилие во всем. Вследствие этого огромной массе населения приходится иногда отправляться за город для починки дорог, если они избиты. Очень часто также, когда не встречается надобности ни в какой подобной работе, государство объявляет меньшее количество рабочих часов. Власти отнюдь не хотят принуждать граждан к излишним трудам [136]. Учреждение этой повинности имеет прежде всего только ту цель, чтобы обеспечить, насколько это возможно с точки зрения общественных нужд, всем гражданам наибольшее количество времени после телесного рабства для духовной свободы и образования. В этом, по их мнению, заключается счастье жизни.

Однако, по моему мнению, пора уже изложить, как общаются отдельные граждане друг с другом, каковы взаимоотношения у всего народа и как распределяются у них все предметы. Так как город состоит из семейств, то эти семейства в огромном большинстве случаев создаются родством. Женщины, придя в надлежащий возраст и вступив в брак, переселяются в дом мужа. А дети мужского пола и затем внуки остаются в семействе и повинуются старейшему из родственников, если только его умственные способности не ослабели от старости. Тогда его заменяет следующий по возрасту.

Во избежание чрезмерного малолюдства городов или их излишнего роста, принимается такая мера предосторожности: каждое семейство, число которых во всяком городе, помимо его округа, состоит из шести тысяч, не должно заключать в себе меньше десяти и более шестнадцати взрослых. Что касается детей, то число их не подвергается никакому учету. Эти размеры легко соблюдаются путем перечисления в менее людные семейства тех, кто является излишним в очень больших. Если же переполнение города вообще перейдет надлежащие пределы, то утопийцы наверстывают безлюдье других своих городов. Ну, а если народная масса увеличится более надлежащего на всем острове, то они выбирают граждан из всякого города и устраивают по своим законам колонию на ближайшем материке, где только у туземцев имеется излишек земли и притом свободной от

обработки; при этом утопийцы призывают туземцев и спрашивают, хотят ли те жить вместе с ними. В случае согласия утопийцы легко сливаются с ними, пользуясь одним и тем же укладом жизни и обычаями; и это служит ко благу того и другого народа. Своими порядками утопийцы достигают того, что та земля, которая казалась раньше одним скупой и скудной, является богатой для обоих. В случае отказа жить по их законам утопийцы отгоняют туземцев от тех пределов, которые избирают себе сами. В случае сопротивления они вступают в войну. Утопийцы признают вполне справедливой причиной для войны тот случай, когда какой-либо народ, владея попусту и понапрасну такой территорией, которой не пользуется сам, отказывает все же в пользовании и обладании ею другим, которые по закону природы должны питаться от нее. Если какой-нибудь несчастный случай уменьшает население собственных городов утопийцев до такой степени, что его нельзя восстановить из других частей острова при сохранении надлежащих размеров для каждого города (а это, говорят, было только дважды за все время, от свирепой и жестокой чумы), то такой город восполняется обратным переселением граждан из колонии. Утопийцы дают лучше погибнуть колониям, чем ослабнуть какому-либо из островных городов.

Но возвращаюсь к совместной жизни граждан. Как я уже сказал, во главе семейства стоит старейший. Жены прислуживают мужьям, дети родителям и вообще младшие старшим. Каждый город разделен на четыре равные части.

Посредине каждой части имеется рынок со всякими предметами. Туда, в определенные дома, свозятся предметы производства каждого семейства, и отдельные виды их распределяются в розницу по складам. В них каждый отец семейства просит того, что нужно ему и его близким, и без денег, совершенно без всякой уплаты, уносит все, что ни попросит. Да и зачем ему отказывать в чем либо. Ведь, во-первых, все имеется в достаточном изобилии, а во-вторых,— не может быть никакого опасения, что кто-либо пожелает потребовать больше, чем нужно. Зачем предполагать, что лишнего попросит тот, кто уверен, что у него никогда ни в чем не будет недостатка? Действительно, у всякого рода живых существ жадность и хищность возникают или от боязни нужды, или, у человека только, от гордости, вменяющей себе в достоинство превзойти прочих излишним хвастовством своим имуществом. Порок такого рода совершенно не имеет места среди обычаев утопийцев.

К упомянутым мною рынкам присоединены рынки для съестных припасов, куда свозятся не только овощи[137], древесные плоды и хлеб, но также рыба и все съедобные части четвероногих и птиц, для чего за городом устроены особые места, где речная вода смывает гниль и грязь. Оттуда привозят скот, после того как слуги убьют его и снимут шкуру. Утопийцы не позволяют своим согражданам свежевать скот, потому что от этого, по их мнению, мало-помалу исчезает милосердие, самое человечное чувство нашей природы. Затем они не дают вво-

зить в город ничего нечистого и грязного, гниение чего портит воздух и может навлечь болезнь.

Кроме того на всякой улице имеются поместительные дворцы, отстоящие друг от друга на равном расстоянии; каждый из них известен под особым именем. В них живут сифогранты. К каждому из этих дворцов приписаны тридцать семейств, именно, по пятнадцати с той и другой стороны. Тут эти семьи должны обедать. Заведующие кухней каждого дворца в определенный час собираются на рынок и получают пищу согласно указанному ими числу своих едоков [138].

Но в первую очередь принимаются во внимание больные, которые лечатся в общественных госпиталях. У утопийцев имеются четыре больницы, за стенами города, в небольшом от них расстоянии, настолько обширные, что их можно приравнять к стольким же слободам. Цель этого, с одной стороны, та, чтобы не размещать больных, в каком бы большом количестве они ни были, тесно и вследствие этого неудобно, а с другой та, чтобы одержимые такой болезнью, которая может передаваться от одного к другому путем прикосновения, могли быть дальше отделены от общения с другими. Эти больницы прекрасно устроены и преисполнены всем нужным для восстановления здоровья; уход в них применяется самый нежный и усердный; наиболее опытные врачи присутствуют там постоянно. Поэтому хотя никого не посылают туда насильно, но нет почти никого в целом городе, кто, страдая каким-либо не-

дугом, не предпочел бы лежать там, а не у себя дома. Когда заведующий кухней больных получит пищу согласно предписанию врачей, то затем все лучшее распределяется равномерно между дворцами сообразно числу едоков каждого. Кроме этого принимаются во внимание князь, первосвященник, траниборы, а также послы и все иностранцы (если таковые находятся, а они бывают вообще в малом количестве и редко; но когда появляются, то для них также приготовляют определенные и оборудованные жилища). В эти дворцы в установленные часы для обеда и ужина собирается вся сифогрантия, созываемая звуками медной трубы. Исключение составляют только больные, лежащие в госпиталях или дома. Правда, никому не запрещается по удовлетворении дворцов просить с рынка пищу на дом. Утопийцы знают, что никто не сделает этого зря. Действительно, хотя никому не запрещено обедать дома, но никто не делает этого охотно, потому что считается непристойным и глупым тратить труд на приготовление худшей еды, когда во дворце, отстоящем так близко, готова роскошная и обильная. В этом дворце все работы, требующие несколько большей грязи и труда, исполняются рабами. Но обязанность варки и приготовления пищи и всего вообще оборудования обеда лежит на одних только женщинах, именно, из каждого семейства поочередно. За обедом садятся за тремя или за большим количеством столов, сообразно числу кушающих; мужчины помещаются с внутренней стороны стола, у стены, а женщины напротив, чтобы, если с

ними случится какая-либо неожиданная беда (а это бывает иногда с беременными), они могли встать, не нарушая рядов, и уйти оттуда к кормилицам.

Эти последние сидят отдельно с грудными детьми в особой назначенной для того столовой, где всегда имеются огонь и чистая вода, а иногда и люльки, чтобы можно было и положить туда младенцев и, в случае их желания, при огне освободить их от пеленок и дать им отдохнуть на свободе и среди игр. Каждая мать сама кормит ребенка[139], если не помешает смерть или болезнь. Когда это случается, то жены сифогрантов разыскивают кормилицу, да это и не трудно: женщины, могущие исполнить эту обязанность, берутся за нее охотнее, чем за всякую другую, потому что все хвалят такую особу за ее сострадание, и питомец признает кормилицу матерью. В убежище кормилиц сидят все дети, которым не исполнилось еще пяти лет. Что касается прочих несовершеннолетних, в числе которых считают всех лиц того или другого пола, не достигших еще брачного возраста, то они или прислуживают сидящим, или, если не могут этого по своим летам, все же стоят тут, и притом в глубоком молчании[140]. И те и другие питаются тем, что им дадут сидящие, и не имеют иного отдельного времени для еды. Место в средине первого стола считается наивысшим, и с него, так как этот стол поставлен поперек в крайней части столовой, видно все собрание. Здесь сидят сифогрант и его жена. С ними помещаются двое старейших, так как за всеми столами сидят по четверо.

А если в этой сифогрантии есть храм, то священник и его жена садятся с сифогрантом, так что являются председательствующими. С той и другой стороны размещается молодежь; затем опять старики; и, значит, таким образом во всем доме ровесники соединены друг с другом и вместе с тем слиты с людьми противоположного возраста. Причина этого обычая, говорят, следующая: так как за столом нельзя ни сделать, ни сказать ничего такого, что ускользало бы от повсеместного соседства старцев, то, в силу своей серьезности и внушаемого ими уважения, они могут удержать младших от непристойной резкости в словах или движениях. Блюда с едой подаются не подряд, начиная с первого места, а каждым лучшим кушаньем обносят прежде всего всех старейших, места которых особо отмечены, а потом этим блюдом в равных долях обслуживают остальных. А старцы раздают по своему усмотрению сидящим вокруг свои лакомства, если запас их не так велик, чтобы их можно было распределить вдоволь по всему дому. Таким образом и за пожилыми сохраняется принадлежащий им почет, и, тем не менее, их преимущества постольку же доступны всем.

Каждый обед и ужин начинается с какого-либо нравоучительного чтения, но все же краткого, чтобы не надоесть. После него старшие заводят приличный разговор, однако не печальный и не лишенный остроумия. Но они отнюдь не занимают все время еды длинными рассуждениями; наоборот, они охотно слушают и юношей и даже нарочно вызывают их на беседу.

Они хотят через это узнать способности и талантливость каждого, проявляющиеся в непринужденном застольном общении. Обеды бывают довольно кратки, а ужины — подольше, так как за первыми следует труд, а за вторыми сон и ночной покой, который, по мнению утопийцев, более действителен для здорового пищеварения. Ни один ужин не проходит без музыки[141]; ни один десерт не лишен сладостей. Они зажигают курения, распрыскивают духи и вообще делают все, что может создать за едой веселое настроение. Они особенно охотно разделяют то мнение, что не нужно запрещать ни один род удовольствия, лишь бы из него не вытекало какой-либо неприятности.

Так устроена их совместная жизнь в городах; а в деревнях, где семьи удалены дальше друг от друга, каждая из них ест дома. Никто не испытывает никаких продовольственных затруднений, так как из деревни идет все то, чем питаются горожане.

О путешествиях утопийцев

Если у кого появится желание повидаться с друзьями, живущими в другом городе, или просто посмотреть на самую местность, то такие лица легко получают на это дозволение от своих сифогрантов и траниборов, если в них не встречается никакой надобности. Они отправляются одновременно с письмом от князя, свидетельствующим о позволении, данном на путешествие, и предписывающим день возвращения[142]. Они

получают повозку и государственного раба, чтобы погонять волов и ухаживать за ними. Но если среди путешественников нет женщин, то повозка, как бремя и помеха, отсылается обратно. Хотя в течение всего пути они ничего с собой не берут, у них все же ни в чем нет недостатка: они везде дома. Если они останавливаются в каком-либо месте долее одного дня, то каждый занимается там своим ремеслом и встречает самое радушное отношение со стороны работающих по тому же ремеслу. Если кто преступит свои пределы по собственному почину, то, пойманный без грамоты князя, он подвергается позорному обхождению: его возвращают, как беглого, и жестоко наказывают. Дерзнувший на то же вторично — обращается в рабство.

А если у кого появится охота побродить по окрестностям своего города, то он не встречает на то запрета, раз у него есть позволение отца и разрешение его супружеской половины [143]. Но, в какую бы деревню он ни пришел, он не получает никакой пищи раньше чем не закончит предварительно полуденного рабочего задания (или вообще сколько там обычно делают до ужина). Под этим условием можно отправляться куда угодно в пределах владений своего города. Таким образом он будет не менее полезен городу, чем если бы был в городе.

Вы видите теперь, до какой степени чужды им всякая возможность бездельничать, всякий предлог для лености. У них нет ни одной винной лавки, ни одной пивной; нет нигде публичного дома, никакого случая для разврата, ни

одного притона, ни одного противозаконного сборища[144]; но присутствие на глазах у всех создает необходимость проводить все время или в привычной работе или в благопристойном отдыхе.

Неизбежным следствием таких порядков у этого народа является изобилие во всем, а так как оно равномерно простирается на всех, то в итоге никто не может быть нуждающимся или нищим. Как только в амауротском[145] сенате, который, как я сказал, ежегодно составляется из трех лиц от каждого города, станет известным, где и каких продуктов особенно много, и, наоборот, что и где уродилось особенно скудно, то недостаток в одном месте немедленно восполняют обилием в другом. И утопийцы устраивают это бесплатно, не получая в свою очередь ничего от тех, кому дарят. Но то, что они дают из своих достатков какому-либо городу, не требуя от него ничего обратно, они получают в случае нужды от другого города без всякого вознаграждения. Таким образом весь остров составляет как бы одно семейство.

Но когда они достаточно позаботятся о себе,— а это они признают выполненным не раньше, чем будет сделан запас на два года ввиду неизвестности урожая следующего года,— из остающегося они вывозят в другие страны большое количество зерна, меда, шерсти, льна, леса, червеца и пурпура, руна, воска, сала, кож и вдобавок еще животных. Седьмую часть всего этого они дарят неимущим жителям тех стран, а остальное продают за умеренную цену. В итоге

этой торговли они увозят на родину не только те товары, в которых нуждаются дома (а таковых почти нет, кроме железа), но кроме того и большое количество золота и серебра. В силу продолжительности такого обычая утопийцы имеют повсюду эти драгоценности в превышающем вероятие количестве. Поэтому они теперь обращают мало внимания на то, как им продавать: на наличные деньги или в кредит, и держат гораздо большую часть денег в долговых обязательствах; при заключении их, однако, они, по окончании установленных обычаем формальностей, не требуют никогда поручительства частных лиц, но только всего города. Этот последний, как только настанет день уплаты, требует долг с частных лиц, вносит деньги в казну и пользуется процентами на этот капитал, пока утопийцы не попросят его обратно, а они в огромном большинстве случаев никогда не просят. Они не считают справедливым отнимать совершенно ненужную им вещь у тех, кому она нужна. Впрочем, они требуют деньги только в тех случаях, когда, по стечению обстоятельств, желают дать известную часть капитала другому народу или когда приходится вести войну. Для этого одного они берегут все те сокровища, которые держат дома, чтобы иметь в них поддержку или в крайней, или во внезапной опасности, а главным образом для того, чтобы за непомерную цену нанять иноземных солдат, которых они выставляют для борьбы охотнее, чем своих граждан. Утопийцы знают, что за большие деньги можно обычно купить самих врагов, которые готовы на измену и даже на то,

чтобы вступить в открытый бой друг с другом. В силу этого они хранят неоцененное сокровище, но, впрочем, не как таковое, а обходятся с ним так, что мне стыдно и рассказывать; к тому же я боюсь, что словам моим не поверят. Это опасение мое тем более основательно, что я сознаю, как трудно было бы заставить меня самого поверить этому, если бы я не видел этого лично, а только слышал от другого. Но это уже неизбежно: чем более какое-нибудь явление чуждо нравам слушателей, тем менее оно у них может вызвать доверия. Правда, и остальные учреждения утопийцев очень резко разнятся от наших; поэтому тот, кто благоразумно оценивает положение, будет, вероятно, меньше удивляться тому, что употребление золота и серебра приспособлено у них скорее к их собственным, чем к нашим обычаям. Действительно, они сами не пользуются деньгами, а хранят их на упомянутые нужды, которые могут случиться, а могут и никогда не случиться.

Между тем с золотом и серебром, из которых делаются деньги, они обходятся так, что никто не ценит их дороже, чем того заслуживает природа этих металлов. Кто не видит, насколько они ниже железа? Без него действительно люди не могут жить, так же как без огня и воды; между тем золоту и серебру природа не дала никакого применения, без которого нам трудно было бы обойтись, но людская глупость наделила их ценностью из-за редкости. Мало того, природа, как самая нежная мать, все наилучшее, например воздух, воду и самую зе-

млю, поместила открыто, а суетное и не приносящее никакой пользы убрала очень далеко. Поэтому допустим, что утопийцы запрячут эти металлы в какую-нибудь башню; тогда, вследствие глупой изобретательности толпы, князь и сенат навлекут на себя подозрение, что хотят плутовски обмануть народ и сами извлечь отсюда какую-нибудь выгоду. Предположим далее, что они станут искусно чеканить из этих металлов чаши и другие произведения в том же роде, а потом случайно понадобится опять расплавлять их и потратить на жалованье солдатам; тогда, разумеется, можно предвидеть, с каким трудом они позволили бы оторвать у себя то, что однажды начали считать своей утехой.

Для противодействия этому они придумали некое средство, соответствующее остальным их учреждениям, но весьма далекое от нас, которые так высоко ценят золото и так тщательно хранят его. Поэтому подобный образ действия может заслужить доверие только у испытавших его на опыте. Именно, утопийцы едят и пьют в скудельных сосудах из глины и стекла, правда, всегда изящных, но все же дешевых, а из золота и серебра, повсюду, не только в общественных дворцах, но и в частных жилищах, они делают ночные горшки и всю подобную посуду для самых грязных надобностей [146]. Сверх того из тех же металлов они вырабатывают цепи и массивные кандалы, которыми сковывают рабов. Наконец, у всех опозоривших себя каким-либо преступлением в ушах висят золотые кольца, золото обвивает пальцы, шею опоясывает золотая цепь, и, наконец, голова окружена

золотым обручом. Таким образом, утопийцы всячески стараются о том, чтобы золото и серебро были у них в позоре. В итоге другие народы дают на растерзание эти металлы с неменьшей болью, чем свою утробу, а среди утопийцев, если бы обстоятельства потребовали удаления их всех зараз, никто, повидимому, не почувствовал бы от этого для себя ни малейшего лишения.

Кроме того они собирают на морских берегах жемчуг, а также кое-где по скалам алмазы и карбункулы, но, впрочем, не ищут их, а обделывают, когда те попадутся случайно. Такими камнями утопийцы украшают малолеток; эти последние в первые годы детства кичатся и гордятся подобными украшениями; но лишь только придут в возраст и заметят, что этими безделушками пользуются одни дети, так, без всякого внушения родителей, сами по чувству стыда оставляют их, совершенно так же, как наши дети, подрастая, бросают орехи, амулеты и куклы [147]. Такое различие порядков утопийцев по сравнению с другими народами создает и различное мировоззрение. Это стало особенно ясно для меня на истории с анемолийскими послами [148].

Они приехали в Амаурот при мне, и так как целью их прибытия были важные дела, то их приезду предшествовало собрание трех граждан из каждого города. Но все послы соседних племен, приезжавшие туда раньше, обычно являлись в самой скромной одежде, так как им были известны обычаи утопийцев, у которых не придавалось никакого почета пышному одеянию, шелк служил предметом презрения, а золото

было даже позорным. Анемолийцы же жили особенно далеко и имели с утопийцами мало общения. Поэтому послы, узнав, что все утопийцы ходят в одной и той же одежде, и притом грубой, пришли к убеждению, что у них совсем нет того, чем они не пользуются; поэтому анемолийцы, будучи скорее гордыми, чем умными, решили предстать в возможно блестящей обстановке, изображая из себя каких-то богов, и ослепить глаза несчастных утопийцев пышностью своего наряда. Таким образом вступили три посла со ста спутниками, все в разноцветном одеянии, большинство в шелковом. Сами послы, принадлежавшие на родине к знати, имели златотканные плащи, большие цепи, золотые серьги, вдобавок золотые кольца на руках, и, сверх того, шляпы их были обвешаны золотыми ожерельями, блиставшими жемчугом и дорогими камнями. Говоря короче, они были украшены всем тем, что у утопийцев служило или наказанием для рабов, или признаком бесчестья для опозоренных, или безделушками для ребят. Поэтому стоило посмотреть, как анемолийцы петушились, когда сравнили свой наряд с одеянием утопийцев, которые массой высыпали на улицы. С другой стороны, не меньшим удовольствием было видеть, как сильно обманулись они в своих надеждах и ожиданиях и как далеки были они от того уважения, которого рассчитывали достигнуть. Именно, на взгляд всех утопийцев, за исключением весьма немногих, посещавших по какой-либе подходящей причине другие народы, вся эта блестящая обстановка представлялась позорной, и потому, почтительно

приветствуя вместо господ всех низкопоставленных, они сочли самих послов по употреблению ими золотых цепей за рабов и пропустили их, не оказав им никакого уважения. Мало того, можно было наблюдать, как дети бросали жемчуг и дорогие камни, когда увидали их прикрепленными на шапках послов, и, толкая мать в бок, обращались к ней с такими словами:

— Вот, мама, какой большой остолоп, он все еще возится с жемчугом и блестящими камушками, как будто мальчишка!

А родительница отвечала также вполне серьезно:

— Молчи, сынок, это, думаю я, кто-нибудь из посольских шутов.

Другие осуждали упомянутые золотые цепи, говоря, что они ни на что не пригодны, так как настолько тонки, что раб может их легко разбить, а с другой стороны, настолько просторны, что, когда ему захочется, он может стряхнуть их и убежать куда угодно, развязанный и свободный.

Но, пробыв день-другой, послы увидели там огромное количество золота и заметили, что оно ценится утопийцами весьма дешево и находится у них в таком же презрении, как у них самих в почете, и что, сверх того, на цепи и оковы одного беглого раба потрачено больше золота и серебра, чем сколько стоила вся пышность их троих. Поэтому у послов опустились крылья, и они со стыдом убрали весь тот наряд, которым так надменно кичились, особенно когда более дружески поговорили с утопийцами и узнали их обычаи и мнения. Именно, у утопийцев вы-

зывает удивление следующее: как может кто-нибудь из смертных восхищаться сомнительным блеском небольшой жемчужинки или самоцветного камушка, раз такому человеку можно созерцать какую-нибудь звезду или, наконец, само солнце; затем может ли кто-нибудь быть настолько безумным, что вообразит себя более благородным из-за нитей более тонкой шерсти, раз эту самую шерсть, из каких бы тонких нитей она ни была, некогда носила овца и все же не была ничем другим, как овцой. Удивительно для утопийцев также и то, как золото, по своей природе столь бесполезное, теперь повсюду на земле ценится так, что сам человек, через которого и на пользу которого оно получило такую стоимость, ценится гораздо дешевле, чем само золото; и дело доходит до того, что какой-нибудь медный лоб, у которого ума не больше, чем у пня, и который столько же бесстыден, как и глуп, имеет у себя в рабстве многих умных и хороших людей исключительно по той причине, что ему досталась большая куча золотых монет; ну, а если судьба или какой-нибудь подвох законов, который нисколько не меньше, чем сама судьба, поставит все вверх дном, перенесет эту кучу от упомянутого господина к самому презренному бездельнику из всей его челяди, то в результате, несколько позже, господин переходит в услужение к слуге, как привесок и придаток к деньгам. Но гораздо большее удивление и ненависть вызывает у утопийцев безумие тех, кто воздает чуть не божеские почести тем богачам, которым он ничего не должен и ничем не обязан; он поступает так только из

уважения к их богатству и в то же время признает их в высшей степени жадными и скупыми и вернее верного понимает, что при жизни этих богачей из такой огромной кучи денег ему никогда не перепадет ни одного грошика.

Подобные мнения утопийцы отчасти усвоили из воспитания, так как выросли в такой стране, учреждения которой очень далеки от подобного рода нелепостей, а отчасти из учения и литературы. Правда, в каждом городе имеется лишь немного лиц, которые освобождены от прочих трудов и приставлены только к учению,— это именно те, у кого с детства обнаружились прекрасные способности, выдающийся талант и призвание к полезным наукам,— но дети учатся все, и значительная часть народа, мужчины и женщины, проводят в учении те часы, когда, как сказано было раньше *, они свободны от работ. Учебные предметы они изучают на своем языке. Он не беден словами, не лишен приятности для слуха и превосходит другие более верной передачей мыслей. Этот же язык, только везде в более испорченном виде, в разных местах по-разному, распространен в значительной части того мира.

До нашего прибытия они даже и не слыхивали о всех тех философах, имена которых знамениты в настоящем известном нам мире. И все же в музыке, диалектике [149], науке счета и измерения они дошли почти до того же самого, как и наши древние (философы). Впрочем, если они во всем почти равняются с нашими древ-

* См. стр. 114.

ними, то далеко уступают изобретениям новых диалектиков. Именно, они не изобрели хотя бы одного правила из тех остроумных выдумок, которые здесь повсюду изучают дети в так называемой „Малой логике“[150], об ограничениях, расширениях и подстановлениях[151]. Далее, так называемые „вторые интенции“[152] не только не подвергались у утопийцев достаточному обследованию, но никто из них не мог видеть так называемого „самого человека вообще“[153], хотя, как вы знаете, это существо вполне колоссальное, больше любого гиганта, и мы даже пальцем на него можем показать. Зато утопийцы очень сведущи в течении светил и движении небесных тел. Мало того, они остроумно изобрели приборы различных форм, при помощи которых весьма точно уловляют движения и положение солнца, луны, а равно и прочих светил, видимых на их горизонте. Но они даже и во сне не грезят о содружествах и раздорах блуждающих светил[154] и о всем вздоре гадания по звездам. По некоторым приметам, полученным путем продолжительного опыта, они предсказывают дожди, ветры и прочие изменения погоды. Что же касается причин всего этого, приливов морей, солености их воды и вообще происхождения и природной сущности неба и мира, то они рассуждают об этом точно так же, как наши старые философы; отчасти же, как те расходятся друг с другом, так и утопийцы, приводя новые причины объяснения явлений, спорят друг с другом, не приходя, однако, во всем к согласию.

В том отделе философии[155], где речь идет

о нравственности, их мнения совпадают с нашими: они рассуждают о благах духовных, телесных и внешних, затем о том, присуще ли название блага[156] всем им или только духовным качествам. Они разбирают вопрос о добродетели и удовольствии. Но главным и первенствующим является у них спор о том, в чем именно заключается человеческое счастье, есть ли для него один источник или несколько. Однако в этом вопросе с большей охотой, чем справедливостью, они, повидимому, склоняются к мнению, защищающему удовольствие[157]: в нем они полагают или исключительный, или преимущественный элемент человеческого счастья. И, что более удивительно, они ищут защиту такого щекотливого положения в религии, которая серьезна, сурова и обычно печальна и строга[158]. Они никогда не разбирают вопроса о счастье, не соединяя некоторых положений, взятых из религии, с философией, прибегающей к доводам разума. Без них исследование вопроса об истинном счастье признается ими слабым и недостаточным. Эти положения следующие: душа бессмертна и по благости божией рождена для счастья; наши добродетели и благодеяния после этой жизни ожидает награда, а позорные постушки — мучения. Хотя это относится к области религии, однако, по их мнению, дойти до верования в это и признания этого можно и путем разума. С устранением же этих положений они без всякого колебания провозглашают, что никто не может быть настолько глуп, чтобы не чувствовать стремления к удовольствию дозволенными и недозволенными средствами; надо осте-

регаться только того, чтобы меньшее удовольствие не помешало большему, и не добиваться такого, отплатой за которое является страдание. Они считают признаком полнейшего безумия гоняться за суровой и недоступной добродетелью и не только отстранять сладость жизни, но даже добровольно терпеть страдание, от которого нельзя ожидать никакой пользы, да и какая может быть польза, если после смерти ты не добьешься ничего, а настоящую жизнь провел всю без приятности, то-есть несчастно. Но счастье, по их мнению, заключается не во всяком удовольствии, а только в честном и благородном. К нему, как к высшему благу, влечет нашу природу сама добродетель, которой одной только противная партия[159] усвояет счастье. Добродетель они определяют, как жизнь, согласную с законами природы[160]; к этому мы назначены богом. Надо следовать тому влечению природы, которое повинуется разуму в решении вопроса, к чему надо стремиться и чего избегать. Разум прежде всего зажигает у людей любовь и уважение к величию божию, которому мы обязаны и тем, что существуем, и тем, что можем обладать счастьем. Во-вторых, разум настойчиво внушает нам и самим жить в возможно большем спокойствии и радости и помогать всем прочим, по природной связи с ними, в достижении того же самого. Не было никогда ни одного столь сурового и строгого приверженца добродетели и ненавистника удовольствия, который бы советовал тебе только труды, бдения и суровость, не предлагая в то же время посильно облегчать нужду и неприятности других

и не считая этого похвальным во имя человеколюбия. Нет добродетели, более присущей человеку, и ему особенно свойственно, чтобы один служил на благо и утешение другому, смягчал тягости других и возвращал их, уничтожив печаль, к приятности жизни, то-есть к удовольствию. Если это так, то почему природе не внушать каждому делать то же самое и для себя?

Действительно, одно из двух: или приятная жизнь, то-есть соединенная с удовольствием, дурна; если это так, ты не только не должен никому помогать в ней, но по мере сил исторгать ее у всех, как вредную и смертоносную; или, если советовать такую жизнь другим, как хорошую, тебе не только можно, но и должно, то почему этого не применить прежде всего к себе самому?

Тебе приличествует быть не менее благосклонным к себе, чем к другим. Ведь если природа внушает тебе быть добрым к другим, то она не предлагает тебе быть суровым и немилосердным к себе самому. Поэтому, по их словам, сама природа предписывает нам приятную жизнь, то-есть наслаждение, как конечную цель всех наших действий; а добродетель они определяют как жизнь, согласную с предписаниями природы. Она же приглашает смертных к взаимной поддержке для более веселой жизни. И в этом она поступает справедливо: нет никого, стоящего настолько высоко над общим жребием человеческого рода, чтобы пользоваться исключительными заботами природы, которая одинаково благоволит ко всем, объединенным общностью одного и того же облика. Поэтому

та же самая природа постоянно предлагает тебе следить за тем, чтобы содействовать своим выгодам постольку, поскольку ты не причиняешь этим невыгод другим.

Следовательно, утопийцы признают необходимым соблюдать не только договоры[161], заключенные между частными лицами, но и общественные законы о распределении удобств жизни, то-есть материала удовольствия, которые, руководясь правилами справедливости, опубликовал добрый государь или утвердил единодушным согласием народ, не угнетенный[162] тиранией и не обманутый коварством. Заботиться о твоей выгоде, не нарушая этих законов, есть требование благоразумия, а иметь в виду также и интересы общественные — твой долг. Похищать чужое удовольствие, домогаясь своего, несправедливо. Наоборот, отнять что-нибудь у себя самого, чтобы придать другим, есть исключительная обязанность человеколюбия и благожелательности; эта обязанность никогда не уносит нашей выгоды в такой мере, в какой возвращает ее. Подобная выгода возмещается взаимностью благодеяний, и самое сознание благодеяния и воспоминание о любви и расположении тех, кому ты оказал добро, приносит твоему сознанию больше удовольствия, чем то телесное наслаждение, от которого ты воздержался. Наконец, религия легко убеждает наше сознание, и оно охотно соглашается с этим, что за краткое и небольшое удовольствие бог воздает огромной и никогда не преходящей радостью. На этом основании, тщательно взвесив и обдумав предмет, утопийцы признают, что все наши

действия, и в числе их сами добродетели, имеют в виду, как конечную цель, удовольствие и счастье.

Удовольствием называют они всякое движение и состояние тела и души, пребывая в которых мы получаем наслаждение по указанию природы. Прибавку о природном стремлении утопийцы делают не без основания. Приятным от природы считается все нижеследующее: то, к чему стремятся не путем обиды; то, ради чего не теряется другое, более приятное; то, что не причиняет страдания; то, чего ищут не только чувства, но и здравый разум. С другой стороны, есть удовольствия, несогласные с природой, которые люди в силу какого-то суетного общего соглашения представляют себе сладкими, как будто бы от человека зависело изменять одинаково предметы и их названия. Но утопийцы признают, что подобные удовольствия нисколько не содействуют счастью. Наоборот, результатом их является то, что, у кого они раз укрепились, у того не остается места для истинных и неподдельных наслаждений, а вся духовная сущность его всецело подчинена ложному пониманию удовольствия. Есть, наконец, очень многое, что по своей природе не заключает никакой сладости, и наоборот, в значительной части содержит даже много горечи, но в силу извращенного соблазна безнравственных желаний считается не только высшим удовольствием, а даже признается главною основою жизни.

К числу подобных поддельных удовольствий утопийцы относят мнение тех людей, про ко-

торых я упомянул раньше*: чем лучше на них одежда, тем лучшими людьми они себя воображают. В этом одном отношении они ошибаются вдвойне. Не менее лгут они и оттого, что считают свое платье лучшим, чем себя. Действительно, если стать на точку зрения полезности одежды, то почему более тонкая шерсть выше более толстой? Но эти люди все же петушатся и, как будто бы их превосходство имело под собою действительную основу, а не ошибку, считают, что и личная их оценка от этого несколько повышается; вследствие этого, словно с полным правом, они требуют для более изящного платья почета, на который никогда не дерзали бы одетые хуже, и приходят в негодование, если на них не обращают достаточного внимания.

Далее, не является ли признаком того же самого безумия и стремление к суетному и не приносящему никакой пользы почету? Действительно, какое естественное и истинное удовольствие может доставить то обстоятельство, что другое лицо обнажает пред тобою голову или преклоняет колена? Что ж, это излечит страдание твоих колен? Или исцелит безумие твоей головы? На этом же фоне притворного удовольствия удивительной сладостью отличается безумие тех, кто заносится и гордится в силу мнения о своей знатности[163], так как этим людям выпало на долю родиться от таких предков, длинный ряд которых считался богатым, особенно земельной собственностью,— ведь знат-

* См. стр. 116.

ность теперь только в этом и заключается. Эта знатность в их глазах ни на волос не уменьшится, хотя бы предки ничего не оставили им из своих богатств или они сами промотали оставленное.

К этому же разряду утопийцы причисляют тех, кто, как я сказал*, увлекается жемчугом и камушками[164] и считает себя чуть не богом, если ему удалось заполучить какой-нибудь выдающийся экземпляр, особенно такого рода, который в его время и в его среде имеет наибольшую стоимость. Ведь не у всех и не во всякое время ценятся одни и те же породы. Но они приобретают этот экземпляр не иначе, как без золотой оправы и в натуральном виде. Да и тут продавец должен дать клятву и представить залог, что эти жемчуг и камень настоящие. До такой степени эти покупатели озабочены тем, что их зрение будет обмануто фальшивым камнем вместо настоящего. Но почему твоему взгляду искусственный камень доставит меньшее наслаждение, раз твой глаз не различает его от настоящего? Честное слово, оба они должны представлять для тебя такую же ценность, как для слепого. Далее, воспринимают ли настоящее удовольствие и не испытывают ли скорее обман от ложного те, кто хранят излишние богатства, нисколько не пользуясь своей кучей, а только наслаждаясь созерцанием ее? Или те, кто в силу противоположного порока прячут золото, которым никогда не собираются пользоваться и которого, может быть, никогда

---

* См. стр. 130.

больше и не увидят? Тревожась, как бы не потерять его, они его теряют на самом деле. Действительно, как иначе назвать твой поступок, если ты отнимаешь у себя лично, а может быть, и у всех людей пользование этим золотом и вручаешь его земле? И вот, запрятав сокровище, ты вполне успокаиваешься и ликуешь от радости. Ну, а допустим, что кто-нибудь украдет это богатство и ты, не зная об этой краже, через десять лет умрешь; в течение десяти лет, которые ты прожил после воровства, какое тебе дело было до того, похищено ли твое золото или цело? И в том и в другом случае тебе от него была одинаковая польза.

К этим столь нелепым наслаждениям утопийцы присоединяют игру в кости (это безумие известно им по слуху, а не по опыту), далее охоту и птицеловство. Именно, они спрашивают: в чем состоит удовольствие бросать кости на доску? Ты столько раз делал это, что если бы с этим было связано какое-нибудь удовольствие, то от неоднократного повторения могло бы все же возникнуть пресыщение? Или какую приятность, а не отвращение скорее, можно найти, слушая лай и вой собак? Или почему получается большее ощущение удовольствия, если собака гонится за зайцем, а не собака за собакой? В том и другом случае дело идет об одном и том же: они бегут, если бег тебе доставляет наслаждение. А если тебя привлекает надежда видеть убийство, ожидание, что у тебя на глазах произойдет мучительная травля, то зрелище того, как собака раздерет зайчишку,

более сильный — более слабого, свирепый — робкого и трусливого, наконец, жестокий — невинного, должно скорее вызвать сострадание. Поэтому все это занятие охотой, как дело, недостойное свободного человека, утопийцы подкинули мясникам, а мы сказали выше *, что это искусство у них исполняют рабы. Утопийцы считают, что охота есть самая низменная сторона этого занятия, а остальные его стороны и более практичны и более благородны, так как они приносят большую пользу и губят животных исключительно по необходимости; между тем охотник ищет в убийстве и травле бедного зверька [165] только удовольствие. По мнению утопийцев, это неудержимое желание смотреть на убийство даже настоящих зверей или возникает в силу природной жестокости, или, при постоянном пользовании таким свирепым удовольствием, окончательно ожесточает человека. В этом и во всех подобных случаях — а их бесчисленное множество — толпа видит удовольствия, а утопийцы, не признавая в природе подобных явлений ничего приятного, решительно считают, что они не имеют ничего общего с истинным удовольствием. Если эти явления в общем доставляют чувству приятность, что составляет задачу удовольствия, то это отнюдь не вынуждает утопийцев менять свое мнение. Они говорят, что причина этого кроется не в природных свойствах явления, а в извращенной привычке людей: по вине ее они принимают горькое за сладкое, уподобляясь бе-

* См. стр. 119.

Io. Clemens. Hythlodæus. Tho. Morus. Pet. Aegid.

SERMONIS QVEM
RAPHAEL HYTHLODAEVS VIR EXIMIVS,
de optimo reipublicæ ſtatu habuit, liber primus, per il-
luſtrem uirũ Thomam Morum indytæ Britanniæ-
rũ urbis Londini & ciuem, & uicecomitem.

VVM NON EXIGVIMO
menti negocia quædam in-
uictiſſimꝰ Angliæ rex HEN
RICVS eius nominis octa-
uus, omnibus egregij princi
pis artibus ornatiſſimus, cũ
ſereniſſimo Caſtellæ princi-
pe CAROLO controuerſa
d nuper ha

Действующие лица в разговоре об Утопии

(Из Базельского издания «Утопии» 1518 г.)

ременным, испорченный вкус которых признает смолу и сало слаще меда. Однако ничье суждение, искаженное или болезнью или привычкой, не может изменить природных свойств как других вещей, так и удовольствия.

Утопийцы допускают различные виды удовольствий, признаваемых ими за истинные; именно, одни относятся к духу, другие к телу. Духу приписывается понимание и наслаждение, возникающее от созерцания истины. Сюда же присоединяются приятное воспоминание о хорошо прожитой жизни и несомненная надежда на будущее блаженство. Телесные удовольствия разделяются на два вида. Первый — тот, который доставляет чувствам явную приятность. Это бывает при восстановлении того, что исчерпала находящаяся внутри нас теплота,— оно достигается пищей и питьем. Другой случай, когда удаляется то, обилие чего переполняет тело: это бывает, когда мы очищаем внутренности испражнениями, совершаем акт деторождения, успокаиваем зуд какого-либо органа трением или почесыванием. Иногда же удовольствие возникает без всякого возмещения того, чего требуют наши члены, и без освобождения их от страданий, но все же при очевидном движении оно щекочет, поражает и привлекает к себе наши чувства какой-то скрытой силой; это, например, доставляет нам музыка.

Другой вид телесного удовольствия заключается, по их мнению, в спокойном и находящемся в полном порядке состоянии тела: это — у каждого его здоровье, не нарушаемое никаким страданием. Действительно, если оно не

связано ни с какою болью, то само по себе служит источником наслаждения, хотя бы на него не действовало никакое привлеченное извне удовольствие. Правда, оно не так заметно и дает чувствам меньше, чем ненасытное желание еды и питья; тем не менее многие считают хорошее здоровье за величайшее из удовольствий. Почти все утопийцы признают здоровье большим удовольствием и, так сказать, основой и базисом всего: оно одно может создать спокойные и желательные условия жизни, а при отсутствии его не остается совершенно никакого места для удовольствия. Полное отсутствие боли без наличия здоровья во всяком случае называется у них бесчувственностью, а не удовольствием. После оживленного обсуждения вопроса утопийцы давно уже отвергли мнение тех, кто предлагал не считать крепкое и безмятежное здоровье за удовольствие на том основании, что наличие его можно будто бы заменить только при противоположном[166] ощущении. Но теперь почти все они, наоборот, пришли единодушно к тому выводу, что здоровье особенно содействует удовольствию. Они рассуждают так: если с болезнью связано страдание, которое является таким же непримиримым врагом удовольствия, как болезнь — здоровья, то почему удовольствию в свою очередь не заключаться в безмятежном здоровье? По их мнению, в этом вопросе нисколько не важно сказать, является ли болезнь страданием или страдание присуще болезни, так как в том и другом случае результат получается один и тот же. Поэтому если здоровье есть само удоволь-

ствие или неизбежно порождает удовольствие, как огонь создает теплоту, то в итоге, в том и другом отношении, удовольствие не может отсутствовать у тех, кто обладает крепким здоровьем. Рассуждают они и так еще: что происходит во время нашей еды, как не борьба здоровья, которое начало колебаться, против голода в союзе с пищей? Пока здоровье в этой борьбе набирается мало-по-малу сил, этот успех его доводит до прежней бодрости то удовольствие, которое так подкрепляет нас. Так неужели же здоровье, которое находит веселье в борьбе, не будет радоваться, достигнув победы? Неужели после счастливого достижения в конце концов прежней силы, к которой исключительно оно стремилось во всей борьбе, оно немедленно оцепенеет, не познает своих благ и не будет ценить их? Кто, спрашивают они, находясь в бодрственном состоянии, не чувствует себя здоровым, если это действительно есть? Неужели кто-нибудь может находиться в таком оцепенении или летаргическом состоянии, что не будет признавать для себя здоровье приятным и усладительным? А что есть услада, как не другое название удовольствия?

Утопийцы особенно ценят духовные удовольствия, их они считают первыми и главенствующими; преимущественная часть их исходит, по их мнению, из упражнения в добродетели и сознания беспорочной жизни. Из удовольствий, доставляемых телом, пальма первенства у них отдается здоровью. Сладкая еда и питье и все, что может доставить подобное наслаждение, по их мнению, конечно, заслуживает стремления,

но только ради здоровья. Все это приятно не само по себе, а в той мере, поскольку оно противится подкрадывающемуся исподтишка недугу. Мудрец будет скорее избегать болезней, чем выбирать средства против них, будет скорее бороться с страданиями, чем принимать утешения по поводу них. Поэтому точно таким же образом и с точки зрения утопийцев лучше будет не нуждаться в подобных физических удовольствиях, чем испытывать наслаждение от них. Если кто испытывает полное удовлетворение от удовольствия такого рода, тот неизбежно должен признать свое полное счастье в том только случае, если ему выпадет на долю жизнь, которую надо проводить в постоянном голоде, жажде, зуде, еде, питье, чесании и натирании; но кто не видит, как подобная жизнь не только безобразна, но и несчастна? Разумеется, эти удовольствия, как наименее чистые,— самые низменные из всех. Они никогда не возникают иначе, как в соединении с противоположными страданиями. Например, с удовольствием от еды связан голод и притом не вполне равномерно. Именно, страдание является как более сильным, так и более продолжительным: оно и возникает раньше удовольствия и утоляется только одновременно с отмиранием удовольствия. Так вот подобные удовольствия утопийцы не считают заслуживающими высокой оценки, но признают их только в той мере, в какой это требуется необходимостью. Но все же утопийцы рады и им и с благодарностью признают доброту матери природы, которая привлекает с самой ласковой приятностью свои творе-

ния даже к тому, что приходится делать постоянно в силу необходимости. Действительно, как отвратительна была бы жизнь, если бы, подобно прочим недугам, беспокоящим нас реже, и ежедневные болезни голода и жажды приходилось прогонять ядами и горькими лекарствами?

Утопийцы охотно уважают красоту, силу, проворство, как особые и приятные дары природы. Затем, кроме человека, нет других живых существ, которые благоговеют пред красотой и изяществом мира, получают впечатление от приятного запаха (у зверей это имеет место только применительно к пище) и различают согласие и рознь в звуках и тонах. Поэтому утопийцы признают, как приятную приправу жизни, и те удовольствия, которые входят к нам через слух, зрение и обоняние и которые природа пожелала закрепить за человеком, как его особое преимущество. Во всем этом они держатся такого правила, что меньшее удовольствие не должно мешать большему и вообще порождать когда-нибудь страдание, которое, по их мнению, есть неизбежное следствие удовольствия бесчестного. Но они считают признаком крайнего безумия, излишней жестокости к себе и высшей неблагодарности к природе, если кто презирает дарованную ему красоту, ослабляет силу, превращает свое проворство в леность, истощает свое тело постами, наносит вред здоровью и отвергает прочие ласки природы. Это значит презирать свои обязательства к ней и отказываться от всех ее благодеяний. Исключение может быть в том случае, когда кто нибудь пренебрегает этими своими преиму-

ществами ради пламенной заботы о других и об обществе, ожидая, взамен этого страдания, большего удовольствия от бога. Иначе совсем глупо терзать себя без пользы для кого-нибудь из-за пустого призрака добродетели или для того, чтобы иметь силу переносить с меньшей тягостью несчастья, которые никогда, может быть, и не произойдут.

Таково их мнение о добродетели и удовольствии. Они верят, что если человеку не внушит чего-нибудь более святого ниспосланная с неба религия, то с точки зрения человеческого разума нельзя найти ничего более правдивого. Разбирать, правильна ли эта мысль или нет, нам не позволяет время, да и нет необходимости. Мы приняли на себя задачу рассказать об их уставах, а не защищать их.

Во всяком случае, каковы бы ни были эти постановления, я убежден в том, что нигде нет такого превосходного народа и более счастливого государства. Природа наделила их проворством и бодростью. Они обладают большей физической силой, чем обещает их рост, в общем все же довольно высокий. И, хотя почва у них не везде плодородна и климат недостаточно здоров, они прекрасно укрепляют себя против превратностей атмосферы умеренностью в пище, а землю успешно врачуют обработкой. В результате ни у одного народа нет более обильных урожаев и приплода скота, люди отличаются значительной жизнеспособностью и подвержены наименьшему количеству болезней. Поэтому там можно видеть, во-первых, тщательное выполнение того, что вообще делают земле-

дельцы, а именно: помощь искусством и трудом земле, не очень-то податливой от природы. Во-вторых, там можно наблюдать и такое более поразительное[167] зрелище: лес выкорчевывается руками народа в одном месте, а насаждается в другом. В этом отношении принимается в расчет не плодородие, а удобство перевозки, именно, чтобы дрова были ближе к морю, рекам или к самим городам. Доставка сухим путем хлеба из более отдаленной местности сопряжена с меньшим трудом, чем доставка дров. Это — народ общительный, остроумный, способный, умеющий насладиться покоем, достаточно привычный, в случае надобности, к физическому труду. Впрочем, в других отношениях они не стремительны, а в умственных интересах неутомимы.

Они узнали от нас об античных народах. Что касается латинян, то там, кроме истории и поэтов, не было ничего, что представлялось утопийцам могущим заслужить особое одобрение; но после ознакомления с литературой и наукой греков они с огромным и изумительным усердием приложили старание к тому, чтобы изучить это при нашем объяснении. Поэтому мы начали читать с ними греков, не желая прежде всего подавать учащимся мысль, будто мы отказываемся от такой работы, и не надеясь особенно ни на какой успех от этого. Но стоило нам немного подвинуться вперед, как прилежание утопийцев заставило нас тотчас сообразить, что нам не придется напрасно тратить таковое и с своей стороны. Они начали с большой легкостью воспроизводить фор-

мы букв, с большой легкостью произносить слова, с огромной быстротой запоминать их и с замечательной точностью переводить; поэтому успехи утопийцев вызывали у нас положительное удивление. Правда, большинство тех, кто принялся за это изучение не только из добровольных побуждений, но и по приказу сената, принадлежало к числу избраннейших по своим способностям ученых[168] и к людям зрелого возраста. Поэтому менее чем через три года для них не оставалось никаких трудностей с точки зрения языка; классических писателей они могли читать без всяких затруднений, за исключением искажений в тексте.

Утопийцы усвоили эту литературу тем более легко, что, по моему, по крайней мере, предположению, она им несколько сродни. Именно, я подозреваю, что этот народ ведет происхождение от греков, так как их язык, в остальных отношениях почти напоминающий персидский[169], в названиях городов и должностных лиц сохраняет некоторые следы греческой речи. Отправляясь в плавание в четвертый раз, я взял с собою на корабль вместо поваров порядочную кипу книг, потому что принял твердое решение лучше не возвращаться никогда, чем скоро. Поэтому у утопийцев имеется от меня значительное количество сочинений Платона, еще больше Аристотеля, равно как книга Феофраста[170] о растениях, но, к сожалению, в очень многих местах неполная. Именно, во время нашего плавания книга эта оставалась без достаточного надзора и попалась обезьяне[171], которая, резвясь и играя, вырвала здесь и там

несколько страниц и растерзала их. Из составителей грамматик у них есть только Ласкарис[172]; Федора[173] я не привозил с собой, а также ни одного словаря кроме Гесихия[174] и Диоскорида[175]. Они очень любят мелкие произведения Плутарха[176] и восхищаются также изяществом и остроумием Лукиана[177]. Из поэтов у них есть Аристофан[178], Гомер[179] и Еврипид, затем Софокл[180], напечатанный мелким шрифтом Альда[181], из историков Фукидид[182], Геродот[183], а также Геродиан[184]. Мало того, мой товарищ Триций Апинат[185] привез с собою также из области медицины некоторые мелкие произведения Гиппократа[186] и так называемое „Малое искусство“ Галена[187]. Эти книги у них очень ценятся. Хотя, по сравнению с прочими народами, утопийцы менее всего нуждаются в медицине, однако нигде она не пользуется бо̀льшим почетом, хотя бы потому, что познание ее ставят наравне с самыми прекрасными и полезными частями философии. Исследуя с помощью этой философии тайны природы, они рассчитывают получить от этого не только удивительное удовольствие, но и войти в большую милость у ее виновника и создателя. По мнению утопийцев, он, по обычаю прочих мастеров, предоставил рассмотрение устройства этого мира созерцанию человека, которого одного только сделал способным для этого, и отсюда усердного и тщательного наблюдателя и поклонника своего творения любит гораздо более, чем того, кто, наподобие неразумного животного, глупо и бесчувственно пренебрег столь величественным и изумительным зрелищем.

Поэтому способности утопийцев, изощренные науками, удивительно восприимчивы к изобретению искусств, содействующих в каком-либо отношении удобствам и благам жизни. Но двумя изобретениями они все же обязаны нам, а именно: книгопечатанием и изготовлением бумаги; но и тут, впрочем, помогли не столько мы, сколько они сами себе. Именно, мы могли только показать им буквы, напечатанные Альдом в бумажных книгах, и скорее толковали кое-что, чем объясняли о материале для изготовления бумаги и об уменье оттискивать буквы, так как никто из нас не был достаточно искусен ни в том, ни в другом. Но они тотчас с большим остроумием смекнули, в чем дело; раньше они писали только на коже, коре и папирусе, а теперь тотчас стали делать попытки изготовлять бумагу и оттискивать буквы. Сначала это им не очень удавалось, но после неоднократных и настойчивых попыток они в скором времени постигли то и другое. Успехи их так велики, что, будь у них экземпляры греческих авторов, они не ощущали бы никакого недостатка в книгах. Теперь у них имеется из литературы нисколько не больше того, что упомянуто мною раньше; но эту наличность они распространили уже путем печатных книг во многих тысячах экземпляров.

Утопийцы благосклонно принимают всякого приезжающего посмотреть их страну, особенно если это лицо отличается какими-либо выдающимися талантами или знанием многих земель, полученным в результате продолжительных путешествий; с этой последней точки зрения им

был приятен и наш приезд. Они охотно слушают о том, что творится везде на земле. Но ради торговли в Утопию приезжают не очень часто. В самом деле, что ввозить к ним, кроме железа да еще золота и серебра? Но эти два металла каждый предпочел бы вывозить от них. Далее, то, что подлежит экспорту от них, они считают более благоразумным вывозить сами, чем предоставлять это другим. Причиной этого служит их желание приобрести более близкое знакомство с окружающими их другими народами и не забыть опыта и навыка в мореплавании.

О рабах

Утопийцы не считают рабами ни военнопленных, кроме тех, кого они взяли сами в бою с ними, ни детей рабов, ни, наконец, находящихся в рабстве у других народов, кого можно было бы купить. Но они обращают в рабство своего гражданина за позорное деяние, или тех, кто у чужих народов был обречен на казнь за совершенное им преступление. Людей этого второго рода гораздо больше, так как многих из них утопийцы добывают иногда по дешевой цене, а чаще получают их даром. Рабы того и другого рода не только постоянно заняты работой, но и закованы в цепи; обхождение с рабами, происходящими из среды самих утопийцев, более сурово на том основании, что они усугубили свою вину и заслужили худшее наказание, так как прекрасное воспитание отлично подготовило их к добродетели, а они все же не могли удержаться от злодеяния.

Иной род рабов получается тогда, когда какой-либо трудолюбивый и бедный батрак[188] из другого народа предпочитает пойти в рабство к утопийцам добровольно. К таким людям они относятся с уважением и обходятся с ними с неменьшей мягкостью, чем с гражданами, за исключением того, что налагают несколько больше работы, так как те к ней привыкли. Если подобное лицо пожелает уехать, что бывает не часто, то утопийцы не удерживают его против воли и не отпускают с пустыми руками.

Как я сказал *, утопийцы ухаживают за больными с большим усердием и прилагают решительно все меры, чтобы вернуть им здоровье путем или тщательного лечения, или питания. Даже страдающих неизлечимыми болезнями они утешают постоянным пребыванием около них, разговорами, наконец, оказанием какой только возможно помощи. Но если болезнь не только не поддается врачеванию, но доставляет постоянные мучения и терзания, то священники и власти обращаются к страдальцу с такими уговорами: он не может справиться ни с какими заданиями жизни, неприятен для других, в тягость себе самому и, так сказать, переживает уже свою смерть; поэтому ему надо решиться не затягивать долее своей пагубы и бедствия, а согласиться умереть[189], если жизнь для него является мукой; далее, в доброй надежде на освобождение от этой горькой жизни, как от тюрьмы и пытки, он должен сам себя изъять из нее или дать с своего согласия исторгнуть

* См. стр. 120.

себя другим. Поступок его будет благоразумным, так как он собирается прервать смертью не житейские блага, а мучения, а раз он хочет послушаться в этом деле советов священников, то есть толкователей воли божией, то поступок его будет благочестивым и святым. Те, кто даст себя убедить в этом, кончают жизнь добровольно или голодовкой или, усыпленные, отходят, не ощущая смерти. Но утопийцы не губят никого помимо его желания и нисколько не уменьшают своих услуг по отношению к нему. Умереть в силу подобного рода убеждения считается почетным, а если кто причинит себе смерть, не доказав причины ее священникам и сенату, то его не удостоивают ни земли, ни огня, но без погребения позорно бросают в какое-нибудь болото.

Женщина вступает в брак не раньше восемнадцати лет, а мужчина — когда ему исполнится на четыре года больше[190]. Если мужчина или женщина будут до супружества уличены в тайном прелюбодеянии, то оба пола подвергаются тяжкому наказанию, и им совершенно запрещается вступление в брак, но князь по своей милости может отпустить им вину. Отец и мать того семейства, в чьем доме был совершен позор, навлекают на себя сильное бесчестие, как небрежно выполнившие лежавшую на них обязанность. Утопийцы подвергают этот проступок столь суровой каре потому, что если не удерживать старательно людей от беспорядочного сожительства, то в их супружеской жизни редко возможно полное единение, а между тем об этом надо заботиться, так как всю жизнь придется

проводить с одним человеком и, кроме того, переносить все возникающие отсюда тягости.

Далее, при выборе себе супружеской пары утопийцы серьезно и строго соблюдают нелепейший, как нам показалось, и очень смешной обряд. Именно, пожилая и уважаемая матрона показывает женщину, будь это девица или вдова, жениху голой[191], и какой-либо почтенный муж ставит в свою очередь перед молодицей голого жениха. Мы со смехом высказывали свое неодобрение по поводу этого обычая, считая его нелепым, а утопийцы, наоборот, выражали свое удивление по поводу поразительной глупости всех прочих народов. Именно, при покупке жеребенка, где дело идет о небольшой сумме денег, люди бывают очень осторожны: хотя лошадь и так почти голая, они отказываются покупать ее иначе, как сняв седло и стащив всю сбрую, из опасения, что под этими покровами таится какая-нибудь болячка. Между тем при выборе жены, в результате чего человек получит на всю жизнь удовольствие или отвращение, они поступают очень неосмотрительно: окутав все тело одеждами, они оценивают и соединяют с собою женщину на основании пространства величиною чуть не в ладонь, так как, кроме лица, ничего не видно; этим они подвергают себя большой опасности несчастного сожительства, если впоследствии окажется какой-либо недостаток. Не все настолько благоразумны, что обращают внимание исключительно на характер: даже в браках самих мудрецов к душевным добродетелям придают известную прибавку также и физические пре-

имущества. Во всяком случае, под этими покровами может прятаться самое позорное безобразие, которое способно совершенно отвратить от жены сердце, когда физически от нее отделаться уже нельзя. Если в силу какого-нибудь несчастного случая это безобразие выпадет на долю после заключения брака, то каждому необходимо нести свой жребий, а чтобы кто не попался в ловушку ранее, от этого надо оградиться законами. Заботиться об этом надлежало тем усерднее, что утопийцы — единственные из обитателей тех стран, которые довольствуются одной женой; брак у них расторгается редко, не иначе как смертью, исключая случаи прелюбодеяния или нестерпимо тяжелого характера. В обоих случаях сенат предоставляет оскорбленной стороне право переменить супружескую половину, но другая обречена навеки на одновременно позорную и одинокую жизнь. Иначе же они никоим образом не допускают бросать жену против ее воли и без всякой ее вины, а только за то, что у нее появится какой-либо телесный недостаток. Они признают жестоким покидать кого-нибудь тогда, когда он всего более нуждается в утешении; это же, по их мнению, будет служить неопределенной и непрочной опорой для старости, так как она и приносит болезни, и сама является болезнью. Впрочем, иногда бывает так, что если характеры мужа и жены недостаточно подходят друг к другу, а обе стороны находят других, с которыми надеются прожить приятнее, то с обоюдного согласия они расстаются и вступают в новый брак. Но это возможно только с разрешения сената, который

не допускает разводов иначе, как по тщательном рассмотрении дела в своем составе и со своими женами. Да и в этом случае дело проходит нелегко, так как утопийцы сознают, что возможность легкой надежды на новый брак отнюдь не содействует укреплению супружеской привязанности.

Оскорбители брачного союза караются тягчайшим рабством, и если обе стороны состояли в супружестве, то понесшие обиду, в случае желания, отвергают половину, уличенную в прелюбодеянии, и сами сочетаются браком между собою или с кем захотят. Но если один из оскорбленных упорствует в любви к своей так дурно поступившей половине, то ему все же не препятствуют оставаться в законном супружестве, если он пожелает последовать за своей половиной, осужденной на рабство. При этом иногда случается, что раскаяние одного и услужливое усердие другого вызывают у князя сострадание, и он возвращает виновному свободу. Но вторичное грехопадение карается уже смертью.

За прочие преступления никакой закон не устанавливает никакого определенного наказания, но за всякий ужасный и злодейский проступок кару назначает сенат. Мужья наставляют на путь жен, родители — детей, если они не совершили ничего особенно выдающегося, так что публичное наказание за это требовалось бы правилами общественной нравственности. Но обычно все наиболее тяжкие преступления караются игом рабства. По мнению утопийцев, оно является достаточно суровым для преступни-

Взаимные смотрины жениха и невесты

(Из Амстердамского издания «Утопии» 1715 г.)

ков и более выгодным для государства, чем спешить убить виновных и немедленно устранить их. Труд этих лиц приносит более пользы, чем их казнь, а с другой стороны пример их отпугивает на более продолжительное время других от совершения подобного позорного деяния. Если же и после такого отношения к ним они станут опять бунтовать и противиться, то их закалывают, как неукротимых зверей, которых не может обуздать ни тюрьма, ни цепь. Но для терпеливо сносящих рабство надежда отнюдь не потеряна. Если продолжительное страдание укротит их и они обнаружат раскаяние, свидетельствующее, что преступление тяготит их больше наказания, то иногда власть князя или голосование народа может или смягчить их рабство, или прекратить его. Стремление вовлечь женщину в прелюбодеяние утопийцы считают нисколько не меньшей дерзостью, чем самое прелюбодеяние. Вообще во всяком позорном поступке определенную и решительную попытку они приравнивают к самому деянию. По их мнению, неудача в этом отношении не должна принести никакой пользы тому, по чьей вине она произошла.

Дурачки[192] служат у них предметом забавы; оскорбительное обращение с ними считается весьма позорным, но наряду с этим не запрещается забавляться их глупостью. Именно, утопийцы полагают, что это особенно служит на благо самим дурачкам. Если кто настолько суров и угрюм, что ни одно действие, ни одно слово дурачка не вызывает у него смеха, то такому человеку они никогда не доверяют за-

боту о нем. Они боятся, что дурачок не встретит достаточно ласкового ухода со стороны того, кому он не только не принесет никакой пользы, но и забавы, а это последнее — его единственное преимущество.

Смеяться над безобразием и уродством они считают позором и безобразием, но не для того, кто подвергается осмеянию, а для насмешника: глупо упрекать кого-нибудь, как за порок, за то, избежать чего было не в его власти. Не поддерживать естественной красоты служит, по их мнению, признаком косности и вялости, равно как искать ей опору в притираниях есть позорное бесстыдство. Они познают непосредственно на опыте, что никакой красотой наружности жены не могут приобрести расположение мужей в такой мере, как своей нравственностью и почтительностью. Правда, некоторые пленяются одной только красотой, но привязывают мужа лишь добродетель жены и ее повиновение.

Утопийцы не только отвращают людей наказаниями от позора, но и приглашают их к добродетелям, выставляя напоказ их почетные деяния. Поэтому они воздвигают на площади статуи мужам, выдающимся и оказавшим важные услуги государству, на память об их подвигах. Вместе с тем они хотят, чтобы слава предков служила для потомков, так сказать, шпорами поощрения к добродетели.

Кто путем происков добивается получить какую-либо должность, лишается надежды на достижение всех.

Между собою они живут дружно, так как ни один чиновник не проявляет надменности и

не внушает страха. Их называют отцами, и они ведут себя достойно. Должный почет им утопийцы оказывают добровольно, и его не приходится требовать насильно. Даже и сам князь выделяется не одеянием или венцом, а тем, что несет пучок колосьев, равно как отличительным признаком первосвященника служит восковая свеча, которую несут перед ним.

Законов у них очень мало, да для народа с подобными учреждениями и достаточно весьма немногих[193]. Они даже особенно не одобряют другие народы за то, что им представляются недостаточными бесчисленные томы законов и толкователей на них.

Сами утопийцы считают в высшей степени несправедливым связывать каких-нибудь людей такими законами, численность которых превосходит возможность их прочтения, или темнота — доступность понимания для всякого. Далее, они решительно отвергают всех адвокатов[194], хитроумно ведущих дела и лукаво толкующих законы. Они признают в порядке вещей, что каждый ведет сам свое дело и передает судье то самое, что собирался рассказать защитнику. В таком случае и околичностей будет меньше, и легче добиться истины, так как говорить будет тот, кого никакой защитник не учил прикрасам, а во время его речи судья может умело все взвесить и оказать помощь более простодушным людям против клеветнических измышлений хитроумцев. У других народов при таком обилии самых запутанных законов это соблюдать трудно, а у утопийцев законоведом яв-

ляется всякий. Ведь, как я сказал*, у них законов очень мало, и, кроме того, они признают всякий закон тем более справедливым, чем проще его толкование. По словам утопийцев, все законы издаются только ради того, чтобы напоминать каждому об его обязанности. Поэтому более тонкое толкование закона вразумляет весьма немногих, ибо немногие могут постигнуть это; между тем более простой и доступный смысл законов открыт для всех. Кроме того, что касается простого народа, который составляет преобладающее большинство и наиболее нуждается во вразумлении, то для него безразлично — или вовсе не издавать закона, или облечь после издания его толкование в такой смысл, до которого никто не может добраться иначе, как при помощи большого ума и продолжительных рассуждений. Простой народ с его тугой сообразительностью не в силах добраться до таких выводов, да ему и жизни на это не хватит, так как она занята у него добыванием пропитания.

Эти добродетели привлекают к утопийцам внимание их свободных и независимых соседей, многих из которых они давно уже освободили от тирании. И вот эти народы просят себе у них должностных лиц, одни ежегодно, другие на пять лет. По окончании срока иноземцы провожают этих лиц с почетом и похвалою и привозят с собою на родину новых. Разумеется, эти народы выражают подобной мерой прекрасную и тщательную заботливость о пользе своего го-

---

* См. стр. 163.

сударства: если и благоденствие и гибель его зависят от характера должностных лиц, то на ком можно с большим благоразумием остановить свой выбор, как не на тех, кого ни за какую плату нельзя отклонить от честного исполнения долга? Этот подкуп бесполезен для утопийцев, так как им предстоит в скором времени вернуться обратно; с другой стороны, гражданам они совершенно чужды и потому не могут дать решения под влиянием дурно направленного лицеприятия или вражды. Как только заведутся в судах эти два бедствия, пристрастие и корыстолюбие, они тотчас нарушают всякую справедливость, этот крепчайший нерв государства. Те народы, которые просят себе у утопийцев должностных лиц, называются у них союзниками, а прочих, кто усилен благодеяниями, они именуют друзьями.

Утопийцы не вступают ни с одним народом в договоры, которые остальные народы столько раз взаимно заключают, нарушают и возобновляют. К чему договор, спрашивают они; как будто природа не достаточно связует человека с человеком? Неужели можно думать, что тот, кто пренебрежет ею, будет заботиться об исполнении слов? К этому мнению они приходят главным образом потому, что в тех странах договоры и соглашения государей соблюдаются не особенно добросовестно. Вот в Европе [195], особенно в тех частях ее, где распространена христианская вера и религия, повсюду величие договоров свято и нерушимо. Причиной этого служат, с одной стороны, справедливость и доброта государей, а с другой — уважение и страх пред

папами. Они как сами не берут на себя ничего без самого тщательного исполнения, так повелевают всем прочим государям всячески держаться своих обещаний, а уклоняющихся побуждают своим пастырским судом и строгостью. Они вполне справедливо признают величайшим позором отсутствие веры в договорах тех людей, которые по преимуществу называются верными [196].

А в том новом мире, который экватор отделяет от нашего не столько дальним расстоянием, как разницей в жизни и обычаях, нет никакой уверенности в договорах. Чем большими и святейшими церемониями сопровождается заключение каждого из них, тем скорее его нарушают. Именно, легко найти каверзу в словах, которые иногда умышленно диктуют так хитро, что их никогда нельзя сковать особенно крепкими узами, а открывается известная лазейка для одинаковой увертки и от договора и от верности. И вот лица, которые дали государям подобный совет, с похвальбою называют себя виновниками его. А окажись такое лукавство, или скорее обман и коварство, в соглашении частных лиц, то эти же самые лица стали бы весьма высокомерно кричать, что это — святотатство и заслуживает виселицы. Из этого можно сделать двоякий вывод: или вся справедливость представляется только плебейской и туманной и сидящей далеко ниже высокого трона царей, или существуют по крайней мере две справедливости: одна из них приличествует простому народу, ходящая пешком и ползающая по земле,

спутанная отовсюду многими оковами, чтобы она нигде не могла перескочить ограды; другая — добродетель государей; она — величественнее предшествующей народной, а вместе с тем и значительно свободнее ее, поэтому ей все позволено, кроме того, что ей не угодно.

Эти нравы тамошних государей, так плохо соблюдающих договоры, служат, по-моему, причиною того, что утопийцы не заключают никаких договоров; но если бы они жили с нами, то, может быть, переменили бы мнение на этот счет. Правда, с точки зрения утопийцев, укоренившаяся привычка заключать договоры в общем противодействует надлежащему выполнению их. Именно, в силу этой привычки народы, которые отделены один от другого только небольшим холмиком или ручейком, забывают, что их соединяют узы природы, а считают, что родились врагами и недругами друг другу и законно идут губить одни других, если этому не препятствуют договоры. Мало того, даже после заключения их народы не сливаются в дружбе, а оставляют за собою ту же возможность грабить друг друга, поскольку в условиях договора, при его заключении, не включено решительной оговорки, запрещающей это. Между тем, по мнению утопийцев, нельзя никого считать врагом, если он не сделал нам никакой обиды; узы природы заменяют договор, и лучше и сильнее взаимно объединять людей расположением, а не договорными соглашениями, сердцем, а не словами.

Утопийцы сильно гнушаются войною, как деянием поистине зверским, хотя ни у одной породы зверей она не употребительна столь часто, как у человека; вопреки обычаю почти у всех народов, они ничего не считают в такой степени бесславным, как славу, добытую войной. Не желая, однако, обнаружить, в случае надобности, свою неспособность к ней, они постоянно упражняются[197] в военных науках. Они никогда не начинают войны зря, а только в тех случаях, когда защищают свои пределы или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-либо народ, угнетенный тиранией, и своими силами освобождают его от ига тирана и от рабства; это делают они по человеколюбию. Правда, они посылают помощь друзьям не всегда для защиты, но иногда также с целью отплатить и отомстить за причиненные обиды. Но они поступают так только в том случае, если, когда еще все было по-хорошему, к ним обращались за советом, они проверили дело, требовали и не получили удовлетворения. После всего этого они решают напасть на зачинщиков войны. Так поступают они во всех тех случаях, когда враги произвели набег и угнали добычу. Но особенно яростно действуют они тогда, когда их купцы, где бы то ни было, подвергаются, под предлогом справедливости, несправедливому обвинению на основании поддельных законов или злостного подмена настоящих. Именно таково было происхождение той войны, которую незадолго до нашего времени утопийцы вели в за-

щиту нефелогетов[198] против алаополитов[199]. Купцы нефелогетов были обижены алаополитами, которые, по их мнению, стояли на точке зрения права. Но, было ли это право или бесправие, во всяком случае возмездием за него явилась жесточайшая война, во время которой к силам и ненависти той и другой стороны присоединили свою помощь и средства окрестные племена. В результате одни из цветущих народов испытали значительное потрясение, а другие были сильно разорены, и, так как утопийцы боролись не для себя, основанные на зле бедствия алаополитов кончились их рабством и сдачей, в силу чего они перешли во власть нефелогетов. Этот народ, когда дела алаополитов были в цветущем положении, не мог итти ни в какое сравнение с ними.

С такой жестокостью мстят утопийцы за обиды, даже денежные, причиненные их друзьям. К собственным обидам они менее чувствительны. Если они потерпят в силу обмана имущественный ущерб, но при этом дело обошлось без физического насилия, то до получения удовлетворения они выражают свой гнев только тем, что воздерживаются от сношений с этим народом. Это зависит не от того, что они заботятся о своих гражданах меньше, чем о союзниках, но отобрание у них денег приводит утопийцев в большее негодование, чем если бы это случилось с ними самими. Дело в том, что купцы их друзей теряют часть своей личной собственности и потому ощущают от урона тяжелую рану; а у граждан Утопии гибнет только часть государственного достояния и притом такая, которая

являлась в своей стране избытком и, так сказать, лишним остатком; иначе она не подлежала бы вывозу за границу. Таким образом урон ни для кого не является ощутительным. Поэтому они считают чересчур жестоким мстить смертью многих за убыток, невыгода которого прошла незамеченной для их жизни и ее потребностей. Но если какой их гражданин где бы то ни было получит от обиды увечье или смерть, то, произошло ли это по вине государства или частных лиц, они отправляют послов для расследования дела и успокаиваются только с выдачей виновных, а иначе немедленно объявляют войну. Выданных виновных они карают смертью или рабством.

Победы, соединенные с кровопролитием, вызывают у них не только чувство отвращения, но и стыда. Они приравнивают это к безумию покупать за чрезмерно дорогую цену хотя бы и редкостные товары. Наоборот, победа и подавление врага искусством и хитростью [200] служит для них предметом усиленной похвальбы: они устраивают по этому поводу триумф от имени государства и, как после геройского подвига, воздвигают памятник. Они с гордостью заявляют, что только подобная победа должна быть признана действительно мужественной и доблестной, так как ее не могло таким способом одержать никакое другое животное, кроме человека, а именно — силою таланта. Действительно, физическою силою [201] борются, по их словам, медведи, львы, вепри, волки, собаки и прочие звери; большинство их превосходит нас силой и свирепостью, но, с другой стороны,

все они уступают нам в отношении талантливости и разума.

Во время войны утопийцы имеют в виду исключительно одно: добиться осуществления той цели, предварительное достижение которой сделало бы войну излишнею. Если же обстоятельства запрещают это, они требуют от врагов особо сурового возмездия, наводя на них такой ужас, который должен запретить им дерзнуть на то же самое впоследствии. Эти свои цели и намерения они намечают ясно и стремятся осуществить возможно скорее, но все же на первом плане стоит у них забота о том, чтобы избегнуть опасностей, а не о том, чтобы добиться похвалы и славы. Поэтому сразу по объявлении войны они стараются тайно и одновременно развесить в наиболее заметных местах вражеской страны воззвания[202], скрепленные своей государственной печатью. Здесь они обещают огромные награды тому, кто погубит вражеского государя; затем меньшие, хотя также очень хорошие награды, назначаются за каждую отдельную голову тех лиц, чьи имена объявлены в тех же воззваниях. Эти лица, с точки зрения утопийцев, стоят на втором месте после государя, как виновники раздора с ними. Награда, обещанная убийце, удваивается для того, кто приведет к ним живым кого-нибудь из внесенных в упомянутые списки. Наряду с этим и сами внесенные в списки приглашаются действовать против товарищей, причем им обещаются те же самые награды и вдобавок безнаказанность.

В результате враги утопийцев начинают бы-

стро заподозривать всех прочих людей, не могут ни на кого положиться и не верят друг другу, а пребывают в сильном страхе и ожидании опасностей. Неоднократно известны такие случаи, когда значительную часть внесенных в списки лиц и прежде всего самого государя выдавали те, на кого эти лица особенно надеялись. Так легко подарки склоняют людей на любое преступление. А утопийцы не знают никакой меры в обещании этих подарков. Вместе с тем они не забывают, на какой решительный шаг они толкают людей, а потому стараются силу опасности возместить громадностью благодеяний; именно, они обещают не только неизмеримую кучу золота, но и очень доходные имения, которые назначают в полную и постоянную собственность в наиболее безопасных местностях, принадлежащих их друзьям; эти обещания они осуществляют с полнейшей добросовестностью.

Другие народы не одобряют такого обычая торговли с врагом и его покупки, признавая это жестоким поступком, основанным на нравственной низости; утопийцы же вменяют это себе в огромную похвалу, считая подобное окончание сильнейших войн совершенно без всякого сражения делом благоразумия. Вместе с тем они называют такой образ действий и человечным, и милосердным. Действительно, смерть немногих виновных искупает жизнь многих невинных, обреченных на смерть в сражении, как из среды самих утопийцев, так и их врагов. Массу простого народа утопийцы жалеют почти не меньше, чем своих граждан. Они знают, что эти люди

идут на войну не по своей воле, а гонимые безумием государей.

Если дело не подвигается путем подкупа, то утопийцы начинают разбрасывать и выращивать семена междоусобий, прельщая брата государя или кого-нибудь из вельмож надеждой на захват верховной власти. Если внутренние раздоры утихнут, то они побуждают и натравляют на врагов их соседей, для чего откапывают какую-нибудь старую и спорную договорную статью, которые у королей всегда имеются в изобилии. Из обещанных собственных средств для войны утопийцы деньги дают весьма щедро, а граждан очень экономно; ими тогда они особенно дорожат и вообще настолько ценят друг друга, что никого из своих граждан не согласились бы променять на вражеского государя. Что же касается золота и серебра, то их они тратят без всякого затруднения, так как хранят эти металлы целиком исключительно для подобных надобностей, тем более что и в случае совершенного израсходования этих средств жизнь утопийцев должна протекать с неменьшими удобствами. Вдобавок, кроме богатств, хранящихся дома, у них есть еще неизмеримое сокровище за границей, в силу которого, как я сказал раньше *, очень многие народы у них в долгу. Таким образом, они посылают на войну солдат, нанятых отовсюду, а особенно из среды заполетов [203]. Этот народ живет на восток от Утопии, на расстоянии пятисот миль, и отличается суровостью, грубостью и свирепостью. Они предпочитают

* См. стр. 127.

всему непроходимые леса и горы, которые их вскормили. Это племя дикое, привычное к жару, холоду и труду, чуждое всякой изнеженности; земледелием они не занимаются, на свои жилища и платье не обращают никакого внимания, а имеют попечение только о скоте. Живут они по большей части охотой и грабежом, рождены исключительно для войны, усердно ищут возможности вести ее, а, когда найдут, с жадностью хватаются за это и, выступив в большом числе, за дешевую плату предлагают себя всякому ищущему солдат. В жизни они знают только то искусство, которым добывается смерть. У кого они служат, за того они борются энергично и с неподкупной верностью. Но они не связывают себя никаким определенным сроком, а берутся за дело под тем условием, что на следующий день готовы стать на сторону врагов, если те предложат им большее вознаграждение, через день же могут вернуться обратно, если их пригласить с надбавкой цены. Редкая война начинается без того, чтобы в войске обеих сторон не было значительной доли заполетов. В силу этого ежедневно бывает, что люди, связанные узами кровного родства, которые, служа по найму на одной и той же стороне, жили в самом тесном дружеском общении, немного спустя разделяются по неприятельским войскам и встречаются как враги и в самом неприязненном настроении; они забывают о происхождении, не помнят о дружбе, а наносят раны друг другу, и к этой взаимной гибели их гонит только та причина, что различные государи наняли их за крохотные деньжонки. Заполеты ведут такой

точный счет им, что за прибавку к ежедневной плате одного гроша легко склонны перейти на другую сторону. Таким образом, они быстро впитали в себя алчность, которая, однако, не приносит им никакой пользы. Именно, что они добывают кровью, то немедленно тратят на роскошь и притом жалкого свойства.

Этот народ сражается на стороне утопийцев против кого угодно, потому что получает за свою работу такую высокую плату, как нигде в другом месте. Именно, утопийцы ищут не только хороших людей на пользу себе, но и этих негодяев, чтобы употребить их на зло. В случае надобности они подстрекают заполетов щедрыми посулами и подвергают их величайшим опасностям, из которых обычно большая часть заполетов никогда не возвращается за обещанным. Но тем, кто уцелеет, утопийцы добросовестно выплачивают, что посулили, желая разжечь их на подобный же риск. Поступая так, утопийцы имеют в виду только гибель возможно большего количества их, так как рассчитывают заслужить большую благодарность человечества в случае избавления вселенной от всего сброда этого отвратительного и нечестивого народа.

После заполетов утопийцы берут войска того народа, в защиту которого поднимают оружие, затем вспомогательные отряды прочих друзей. Напоследок они присоединяют собственных граждан, одного из которых, мужа испытанной доблести, они ставят во главе всего войска. К нему назначаются два заместителя, которые, однако, остаются частными людьми, пока с начальником ничего не произошло. В случае же его плена

или гибели его замещает, как по наследству [204], один из двух упомянутых помощников, а его, глядя по обстоятельствам, третий. Причиной этого служит опасение, что, ввиду превратности жребиев войны, несчастный случай с полководцем может привести в замешательство все войско. В каждом городе производится набор из числа тех, кто записывается добровольно. Утопийцы не гонят никого на военную службу за границу против его воли, так как убеждены, что если кто робок от природы, то не только сам не совершит каких-либо храбрых подвигов, но внушит еще страх товарищам. Но если война обрушится на их отечество, то подобные трусы, при условии обладания физической силой, распределяются по кораблям вперемежку с лучшими гражданами или расставляются там и сям по стенам, откуда нельзя убежать. Таким образом, стыд перед согражданами, враг под рукою и отсутствие надежды на бегство уничтожают страх, и часто из храбрецов поневоле они обращаются в настоящих.

Повторяю, утопийцы не тянут никого из своей среды против его воли на войну за границу, но, с другой стороны, если какая женщина пожелает пойти с мужем на военную службу, то она не только не встречает препятствия в этом, а, наоборот, поощрение и похвалу [205]; в строю всякую из выступивших ставят рядом с ее мужем, затем каждого окружают его дети, свойственники и родственники. Таким образом, ближайшей и непосредственной поддержкой друг другу служат те, кого сама природа всего сильнее подстрекает приносить помощь друг другу.

Огромным позором считается, если один из супругов вернется без другого или сын придет обратно, потеряв отца. Поэтому, если самим утопийцам приходится вступить в рукопашный бой, то, в случае упорного сопротивления врагов, сражение затягивается надолго, ведется с ожесточением и заканчивается полным уничтожением. Именно, утопийцы всячески стараются избежать необходимости бороться сами, а с другой стороны, когда вступить в битву им представляется неминуемым, то их бесстрашие в этом отношении равняется тому благоразумию, с каким ранее, пока была возможность, они уклонялись от боя. Отвага их проявляется не сразу с первым натиском, но они набираются сил и крепнут медленно и мало-по-малу, доходя до такого упорства, что их можно скорее уничтожить, чем заставить повернуть тыл. Подъем настроения и презрение к поражению создаются у них твердой надеждой на то, что у каждого из них имеется дома все необходимое для пропитания; кроме того, им не надо тревожиться и думать о своем потомстве, а такая забота везде губит порывы благородного мужества. Далее, их уверенность в себе создается осведомленностью в военных науках; наконец, храбрость их усиливается от правильных воззрений, которые внушены им с детства и образованием и прекрасным государственным строем. В силу этого они не ценят жизнь настолько дешево, чтобы тратить ее зря, но вместе с тем и не дорожат ею с таким бесстыдством, чтобы жадно и позорно цепляться за нее, когда долг чести внушает сложить ее.

В то время как везде кипит ожесточенная битва, отборные юноши, связанные клятвой и присягой, намечают себе в жертву вражеского вождя. Он подвергается открытому нападению и ловле из засады; его преследуют издали и вблизи; его штурмует длинный и непрерывный клин, утомленные борцы которого постоянно заменяются свежими. Если этот вождь не спасется бегством, то дело редко обходится без его гибели или без того, что он живым попадает во власть врагов. Если победа остается на стороне утопийцев, то они отнюдь не продолжают кровопролития; бегущих они охотнее берут в плен, чем убивают. Вместе с тем они никогда не увлекаются преследованием беглецов настолько, чтобы не удержать все же одного отряда под знаменами и в полном боевом порядке. Поэтому если все прочие части их армии терпели поражение и утопийцам удавалось одержать победу только при помощи их последнего отряда, то они позволяли скорее уйти всем врагам, чем себе преследовать беглецов, приведя свои ряды в замешательство. Они припоминают при этом такие случаи из своей практики: вся масса их войск бывала разбита наголову, враги, радуясь победе, преследовали отступавших по всем направлениям, а немногие из утопийских граждан, помещенные в резерве и выжидавшие удобного случая, внезапно нападали врасплох на бродивших вразброд и забывших всякую осторожность неприятелей. Это меняло исход всего сражения; вполне верная и несомненная победа исторгалась из рук, и побежденные в свою очередь побеждали победителей.

Что касается военных хитростей, то трудно сказать, в чем тут утопийцы проявляют больше ловкости — в том, чтобы их устроить, или в том, чтобы их избегнуть. Можно подумать, что они готовятся к бегству, когда они об этом менее всего думают; наоборот, когда они принимают такое решение, то можно предположить, что они на это менее всего рассчитывают. Именно, если они замечают свою чрезмерную слабость с точки зрения позиции или численности, то снимаются с лагеря в ночном безмолвии или ускользают при помощи какой-либо военной хитрости; а иногда они медленно отходят днем, но соблюдают при этом такой боевой порядок, что отступая, представляют не меньшую опасность для нападения, как если бы они наступали. Лагерь они укрепляют весьма тщательно очень глубоким и широким рвом, а удаляемую землю выбрасывают внутрь; для этой работы они не прибегают к помощи наемников; все делается руками самих солдат. Занято этим все войско, за исключением тех, кто стоит на страже на валу, на случай внезапных нападений. В итоге такого усиленного старания со стороны многих большие и требующие много места укрепления заканчиваются утопийцами быстрее всякого вероятия.

Оружие для отражения ударов у них очень крепкое и отлично приспособленное для всякого движения и ношения; поэтому тяжести его они не чувствуют даже и при плавании. Привычка плавать в вооружении принадлежит к числу упражнений, связанных с военной наукой. Дальнобойным оружием служат стрелы, которые они — не только пехотинцы, но и конные — пу-

скают с огромной силой и ловкостью. В рукопашном бою они дерутся не мечами, а топорами, которыми и рубят, и колют, причиняя смерть их острием и тяжестью. Военные машины они изобретают очень искусно, а после сооружения тщательно прячут, чтобы не обнаружить их раньше чем они понадобятся и через это не сделать их скорее предметом насмешки, чем пользования. При устройстве этих машин прежде всего имеется в виду, чтобы они были легкими для перевозки и удобно поворачивались.

Заключенное с врагами перемирие они соблюдают свято, так что не нарушают его даже и тогда, когда их к тому вызывают. Вражеской страны они не опустошают, посевов не сожигают, а даже, по мере возможности, заботятся, чтобы не потоптать их ногами людей или лошадей. Утопийцы полагают, что эти посевы растут на их пользу. Из безоружных они никого не обижают, если это не шпион. Сдавшиеся города они охраняют, но и завоеванные не разграбляют, а убивают противившихся сдаче, прочих же защитников обращают в рабство. Все мирное население они оставляют нетронутым. Если они узнают про кого, что они советовали сдаться, то уделяют им известную часть из имущества осужденных; остальное они дарят союзникам. Из среды самих утопийцев никто не берет никакой добычи.

После окончания войны они налагают расходы не на друзей, на которых потратились, а на побежденных. С этой целью утопийцы требуют от них отчасти денег, которые берегут для подобных же военных случайностей, отчасти же

имений немалой ценности, которые удерживают у них за собой навсегда.

Подобные доходы имеют они теперь у многих народов. Возникнув мало-по-малу по разным причинам, эти доходы возросли до суммы свыше семисот тысяч дукатов[206] ежегодно. Для управления ими утопийцы ежегодно посылают некоторых из своих сограждан с именем квесторов, чтобы они могли жить там великолепно и представлять собою вельмож; но и после этого остается значительная часть денег, которая вносится в казну. Иногда же утопийцы предпочитают доверить ее тому же народу и так поступают часто до тех пор, пока она им понадобится. Но едва ли бывает когда-либо, чтобы они потребовали все целиком. Часть указанных имений они уделяют тем, кто по их подговору берет на себя упомянутое * мною раньше рискованное предприятие. Если кто-либо из государей поднимет оружие против утопийцев и готовится напасть на их страну, они тотчас с большими силами выходят ему навстречу за свои пределы. Они не ведут зря войны на своей территории, и нет никакой побудительной причины, которая бы заставила их допустить на свой остров чужие вспомогательные войска.

О религиях утопийцев

Религии утопийцев отличаются своим разнообразием не только на территории всего острова, но и в каждом городе. Одни почитают

* См. стр. 172.

как бога солнце, другие — луну, третьи — одну из планет [207]. Некоторые преклоняются не только как перед богом, но и как перед величайшим богом, перед каким-либо человеком, который некогда отличился своею доблестью или славой. Но гораздо большая и притом наиболее благоразумная часть не признает ничего подобного, а верит в некое единое божество, неведомое, вечное, неизмеримое, необъяснимое, превышающее понимание человеческого разума, распространенное во всем этом мире не своею громадою, а силою: его называют они отцом. Ему одному они приписывают [208] начала, возрастания, продвижения, изменения и концы всех вещей; ему же одному, а никому другому, они воздают и божеские почести.

Мало того, и все прочие, несмотря на различие верований, согласны с только что упомянутыми согражданами в признании единого высшего существа, которому они обязаны и созданием вселенной и провидением. Все вообще называют это существо на родном языке [209] Митрою [210], но расходятся в том, что этот одинаковый бог у всех принимается по-разному. Но, по признанию всех, кем бы ни было то, что они считают высшим существом, в итоге это одна и та же природа, божественной силе и величию которой соглашение всех народов усвояет первенство над всем. Впрочем, мало-по-малу утопийцы отстают от этих разнообразных суеверий и приходят к единодушному признанию той религии, которая, повидимому, превосходит остальные разумностью. Нет сомнения, что прочие религии уже давно бы исчезли у

них; но если кто задумает переменить религию, а судьба пошлет ему в это время какую-либо неудачу, то страх истолкует ее так, что она произошла не случайно, а послана с неба, именно, будто бы божество, культ которого оставляют, мстит за нечестивое намерение против него.

Но вот утопийцы услышали от нас про имя Христа, про его учение, характер и чудеса, про не менее изумительное упорство стольких мучеников, добровольно пролитая кровь которых привела в их веру на огромном протяжении столько многочисленных народов. Трудно поверить, как легко и охотно они признали такое верование; причиной этого могло быть или тайное внушение божие, или христианство оказалось ближе всего подходящим к той ереси, которая у них является предпочтительной. Правда, по моему мнению, немалую роль играло тут услышанное ими, что Христу нравилась совместная жизнь, подобная существовавшей у них, и она сохраняется и до сих пор в наиболее чистых христианских общинах[211]. Но, какова бы ни была причина этого, немалое количество их перешло в нашу религию и приняло омовение святой водой.

Между тем из нас шестерых[212] двое скончались, а из четырех оставшихся ни один, к сожалению, не был священником. Поэтому, посвященные в прочие таинства, утопийцы лишены тех, которые у нас совершают только священники. Однако утопийцы понимают эти таинства и очень сильно желают их. Мало того, они усердно обсуждают между собою вопрос, может ли какой-нибудь избранник из их среды

получить сан священника без посылки к ним епископа. И, повидимому, они склонялись к избранию, но, когда я уезжал, никого еще не выбрали. Даже и те, кто не согласен с христианской религией, все же никого не отпугивают от нее, не нападают ни на одного ее приверженца. Только одно лицо из нашей среды подверглось в моем присутствии наказанию по этому поводу. Это лицо, недавно принявшее крещение, стало, с большим усердием, чем благоразумием, публично рассуждать о поклонении Христу, хотя мы советовали ему не делать этого. При таких беседах он стал увлекаться до того, что не только предпочитал наши святыни прочим, но подвергал беспрестанному осуждению все остальные; громко кричал, что все они языческие, поклонники их — нечестивцы и святотатцы и должны быть наказаны вечным огнем. Он долгое время рассуждал на эту тему, но был арестован и подвергнут суду и осуждению как виновный не в презрении к религии, а в возбуждении смуты в народе. По осуждении он был приговорен к изгнанию. Именно, среди древнейших [213] законов утопийцев имеется такой, что никому его религия не ставится в вину [214].

Действительно, Утоп с самого начала узнал, что до его прибытия туземцы вели между собою постоянную религиозную борьбу; вместе с тем он заметил, что при общем раздоре каждая секта боролась за отечество врозницу, и это обстоятельство дало ему возможность без труда победить всех. Поэтому, одержав победу, он прежде всего узаконил, что каждому позволяется принадлежать к той религии, какая ему

нравится; если же он будет пытаться обратить к ней других, то может устраивать это только мирным и кротким путем, силой доказательств; если же он не достигает советами, то не должен отвращать от других верований суровостью; он не должен применять никакого насилия, и ему надо воздерживаться от всяких ругательств. Всякого дерзкого спорщика по этому вопросу они наказывают смертью или рабством.

Утоп провел этот закон не только из уважения к внутреннему миру, который, как он видел, совершенно уничтожается от постоянной борьбы и непримиримой ненависти; нет, мысль законодателя была та, что это постановление необходимо в интересах самой религии. Утоп не рискнул вынести о ней какое-нибудь необдуманное решение. Для него было неясно, не требует ли бог разнообразного и многостороннего поклонения и потому внушает разным людям разные религии. Во всяком случае, законодатель счел нелепостью и наглостью заставить всех признавать то, что ты считаешь истинным. Но, допуская тот случай, что истинна только одна религия, а все остальные суетны, Утоп все же легко предвидел, что сила этой истины в конце концов выплывет и выявится сама собою; но для достижения этого необходимо действовать разумно и кротко. Если же дело дойдет до волнений и борьбы с оружием в руках, то наилучшая и святейшая религия погибнет под пятою суетнейших суеверий, как нивы среди терновника и сорняка, так как все скверные люди отличаются наибольшим упорством. Поэтому Утоп оставил весь этот вопрос нерешен-

ным и предоставил каждому свободу веровать во что ему угодно. Но он с неумолимой строгостью запретил всякому ронять так низко достоинство человеческой природы, чтобы доходить до признания, что души гибнут вместе с телом и что мир несется зря, без всякого участия провидения. Поэтому, по их верованиям, после настоящей жизни за пороки назначены наказания, а за добродетель — награды. Мыслящего иначе они не признают даже человеком, так как подобная личность приравняла возвышенную часть своей души к презренной и низкой плоти зверей. Такого человека они не считают даже гражданином, так как он, если бы его не удерживал страх, не ставил бы ни во что все уставы и обычаи. Действительно, если этот человек не боится ничего, кроме законов, надеется только на одно свое тело, то какое может быть сомнение в том, что он, угождая лишь своим личным страстям, постарается или искусно обойти государственные законы своего отечества, или преступить их силою? Поэтому человеку с таким образом мыслей утопийцы не оказывают никакого уважения, не дают никакой важной должности и вообще никакой службы. Его считают везде за существо бесполезное и низменное. Но его не подвергают никакому наказанию в силу убеждения, что никто не волен над своими чувствами. Вместе с тем утопийцы не заставляют его угрозами скрывать свое настроение; они не допускают притворства и лжи, к которым, как ближе всего граничащим с обманом, питают удивительную ненависть. Но они запрещают ему вести диспуты в пользу своего мнения, правда, только

перед народной массой: отдельные же беседы со священниками и серьезными людьми ему не только дозволяются, но даже и поощряются, так как утопийцы уверены в том, что это безумие должно в конце концов уступить доводам разума.

Есть там и другая секта, отнюдь не малочисленная и не встречающая никакого запрета, так как приверженцы ее не считаются людьми дурными и по-своему не совершенно лишены разума. Именно, они держатся совершенно противоположного превратного мнения, будто и души скотов существуют вечно, хотя они все же по достоинству несравнимы с нашими и не рождены для равного счастья. Что же касается душ людей, то почти все утопийцы считают верным и непреложным их неизмеримое блаженство. Поэтому из больных они оплакивают всех, а из покойников никого, кроме тех, кто, по их наблюдению, расстается с жизнью со страхом и против воли. Именно, они считают это очень дурным предзнаменованием и предполагают, что такая душа боится конца, так как безнадежно томится от какого-то тайного предчувствия грядущего наказания. Сверх того, по их мнению, богу отнюдь не будет угоден приход такого человека, который не бежит охотно на зов, а тащится против воли и упираясь. Взирающие на смерть подобного рода приходят в ужас и поэтому выносят усопших с печалью и в молчании и зарывают труп в землю после молитвы милостивому к душам богу, чтобы он по своей благости простил их слабости.

Наоборот, никто не скорбит о всех тех, кто

скончался бодрым и исполненным доброй надежды. Похороны таких лиц они сопровождают пением, поручают их души богу с большой любовью и в конце концов сожигают[215] их тела скорее с уважением, чем со скорбью, и воздвигают на этом месте столп с вырезанными на нем заслугами умершего. По возвращении домой они разбирают черты его характера и поступки, и ни одна сторона жизни не упоминается так часто и так охотно, как его радостная кончина. Это воспоминание о высоких качествах умершего, по их мнению, служит для живых весьма действенным поощрением к добродетелям; вместе с тем они считают такое уважение весьма приятным и для усопших; они, по предположению утопийцев, присутствуют при разговорах о них, но, по притупленности человеческого зрения, невидимы. Действительно, с уделом блаженства не может быть связано лишение свободы переселяться куда угодно, а с другой стороны, умершие обнаружили бы полную неблагодарность, отказавшись совершенно от желания видеть своих друзей, с которыми их связывала при жизни взаимная любовь и привязанность, а это чувство,— догадываются утопийцы,— подобно прочим благам, скорее увеличивается после смерти, чем уменьшается. Итак, по их верованиям, мертвые пребывают среди живых, наблюдая за их словами и деяниями. Поэтому, как бы опираясь на таких защитников, утопийцы приступают к своим делам с большей смелостью, а вера в присутствие предков удерживает их от тайных бесчестных поступков.

Утопийцы совершенно презирают и высмеи-

вают приметы и прочие гадания, очень уважаемые другими народами, но основанные на пустом суеверии, а преклоняются пред чудесами, происходящими без всякого пособия природы, считая их деяниями, свидетельствующими о присутствии божества. По их словам, подобные чудесные знамения часто бывают и в их стране. Иногда, в важных и сомнительных случаях, утопийцы предотвращают их общественными молитвами, в твердом уповании на их действие, и достигают этого.

Утопийцы признают, что созерцать природу и затем восхвалять ее — дело святое и угодное богу. С другой стороны, среди них есть лица [216], и притом немалочисленные, которые, руководясь религией, отвергают науки, не заботятся ни о каком знании и в то же время не имеют совершенно никакого досуга: они решили заслужить будущее блаженство после смерти только деятельностью и добрыми услугами остальным. Поэтому одни ухаживают за больными, другие ремонтируют дороги, чистят рвы, чинят мосты, копают дерн, песок, камни; валят деревья и разрубают их, возят на телегах в города дрова, зерно и другое и не только по отношению к государству, но и к частным лицам ведут себя как слуги и усердствуют более рабов. Они охотно и весело берут на себя где бы то ни было всякое дело, неприятное, тяжелое, грязное, от которого большинство уклоняется по его трудности, отвращению к нему и его безнадежности. Другим они доставляют покой, а сами находятся в постоянной работе и трудах и все же не порицают, не клеймят жизни дру-

гих, но не превозносят и своей. Чем более несут они рабский труд, тем больший почет получают от остальных.

Эта секта имеет две разновидности. Одни — холостяки, которые не только совершенно воздерживаются от услад Венеры, но и от употребления мяса, а иные и от всякой животной пищи; они отвергают, как вредные, удовольствия настоящей жизни, стремясь через бдение и в поте лица только к будущей и сохраняют все же веселость и бодрость в надежде на ее скорое достижение. Другие при неменьшем стремлении к труду предпочитают брак; они не отрицают утех его и считают, что должны исполнить долг природы в этом отношении и дать отечеству потомство. Они не уклоняются ни от какого удовольствия, если оно не удерживает их от труда. Они любят мясо четвероногих по той причине, что, по их мнению, эта пища делает их более сильными для всякой работы. Этих вторых сектантов утопийцы считают более благоразумными, а первых более чистыми. Если бы сектанты первого рода основывали на доводах разума свое предпочтение безбрачия браку и жизни суровой — жизни спокойной, то они подвергались бы осмеянию; теперь же за свое признание, что они руководятся тут религией, они встречают уважение и почтение. Утопийцы с особым старанием следят за тем, чтобы не высказать какого-либо опрометчивого суждения о какой-нибудь религии. Таковы те люди, которым они дают на своем языке особое название — бутрески [217]; это слово можно перевести латинским „религиозные“.

Священники[218] утопийцев отличаются особым благочестием, и потому их очень немного, именно, не более тринадцати в каждом городе при одинаковом числе храмов, за исключением тех случаев, когда предстоит война. Тогда семь из них отправляются с войском и столько же временно замещает их. Но каждый из вернувшихся получает обратно свое место. Заместители остаются временно в свите первосвященника и заменяют по порядку первых, когда те умирают. Первосвященник стоит во главе остальных. Священников выбирает народ и притом, подобно прочим чиновникам, тайным голосованием, во избежание пристрастия. Избранные получают посвящение от своей коллегии. Они заведуют богослужением, исполняют религиозные обряды и являются, так сказать, блюстителями нравов. Большим позором считается для того, кого они вызывают к себе по поводу его недостаточно нравственной жизни или делают ему выговор.

Увещание и внушение лежит на обязанности священников, а исправление и наказание преступных принадлежит князю и другим чиновникам. Но священники отлучают от участия в богослужении тех, кого они признают безнадежно испорченными. Ни одного наказания утопийцы не страшатся больше этого. Именно, подвергшиеся ему лица испытывают величайший позор, терзаются тайным религиозным страхом, и даже личность их не остается долго в безопасности. Если они не поспешат доказать священникам свое раскаяние, то подвергаются аресту и несут от сената кару за свое нечестие.

Священники занимаются образованием маль-

чиков и юношей. Но они столько же заботятся об учении, как и о развитии нравственности и добродетели. Именно, они прилагают огромное усердие к тому, чтобы в еще нежные и гибкие умы мальчиков впитать мысли, добрые и полезные для сохранения государства. Запав в голову мальчиков, эти мысли сопровождают их на всю жизнь и после возмужалости и приносят большую пользу для охраны государственного строя, который распадается только от пороков, возникающих от превратных мыслей.

Священниками могут быть и женщины. Этот пол не исключен, но выбирается реже, и это бывают только вдовы и притом пожилые. И жены священников принадлежат к самым выдающимся женщинам в стране. Вообще ни одно должностное лицо не пользуется у утопийцев бо̀льшим почетом, и даже в случае совершения какого-либо позорного поступка священники не подлежат суду общества, а предоставляются только богу и себе самим. Утопийцы считают греховным касаться смертной рукою такого человека, который, каким бы он ни был злодеем, так своеобразно посвящен богу, как обетный дар. Соблюдать этот обычай утопийцам тем легче, что священников очень мало и выбор их производится с особой тщательностью. Да и трудно допустить, что порче и пороку может поддаться наилучший из хороших человек, возвышенный в такой сан из уважения к одной добродетели. А уж если бы это действительно случилось, в силу изменчивости человеческой природы, то все же священники не должны внушать особого страха за гибель государства ввиду их незна-

Семейство Томаса Мора

(С гравюры Гольбейна)

чительного числа и отсутствия у них всякой власти, кроме почета. Столь малое число их установлено у утопийцев именно для того, чтобы от разделения почета между многими не падало достоинство их сословия, которому оказывается теперь такое высокое уважение. Особенно же трудным признают утопийцы найти в большом количестве таких хороших людей, которые соответствовали бы этому сану; для ношения его недостаточно обладать посредственными добродетелями.

Утопийские священники пользуются у чужих народов не меньшим уважением, чем у себя дома. Это легко видно из того, из чего, по моему мнению, оно и возникло. Именно, во время решительного боя они не в очень дальнем расстоянии становятся отдельно на колени, одетые в священные облачения; воздев к небу руки, они молятся прежде всего об общем мире, затем о победе для своих, но без кровопролития для той и другой стороны. Когда войска утопийцев начинают брать верх, священники бегут[219] в центр битвы и запрещают свирепствовать против побежденных. Если враги посмотрят на священников и обратятся к ним непосредственно, то этого достаточно для спасения жизни побежденного, а прикосновение его к их развевающимся одеждам защищает даже и его имущество от всякого лишения, связанного с войной. Поэтому все соседние народы питают к ним огромное уважение и так высоко ценят их величие, что священники столь же часто спасали свое войско от врагов, как врагов от своих граждан. Именно, бывали иногда такие случаи, что

войско утопийцев начинало подаваться, положение становилось отчаянным, они готовились даже бежать, а враги устремлялись бить и грабить их, и вот тут вмешательство священников прерывало резню, оба войска размыкались и заключали между собою прочный мир на справедливых условиях. Никогда не было ни одного народа настолько дикого, жестокого и варварского, который бы не признавал личность утопийских священников неприкосновенной и не подлежащей оскорблениям.

Утопийцы считают праздничными начальный и последний день каждого месяца, а равно и года, который делят на месяцы; срок их ограничен обращением луны, а год определяется круговоротом солнца. Первые дни каждого месяца они называют на своем языке цинемерными, а последние — трапемерными [220]; эти слова можно перевести: первые праздники и конечные праздники.

Храмы их представляют выдающееся зрелище; они не только построены с большим искусством, но и могут вместить огромное количество народа, что представлялось необходимым при крайней их малочисленности. Все они, однако, темноваты. По объяснениям утопийцев, это произошло не от невежества в архитектуре, а устроено по совету священников. Именно, по их мнению, неумеренный свет рассеивает мысли, а скудный и, так сказать, сомнительный сосредоточивает религиозное чувство. Религия в Утопии у всех не одинакова, но ее виды, несмотря на свое разнообразие и многочисленность, различными путями как бы сходятся все к одной

цели — почитанию божественной природы. Поэтому в храмах не видно и не слышно ничего такого, что не подходило бы ко всем религиям вообще. Священнодействия, присущие всякой секте в отдельности, каждый отправляет в стенах своего дома. Общественные богослужения совершаются таким чином, который ни в чем не противоречит службам отдельных сект.

Поэтому в храме не видно никаких изображений богов, отчего каждый волен представлять себе бога в какой угодно форме, так сказать, с точки зрения своей религии[221]. Обращаясь к богу, они не называют его никаким особым именем, кроме Митры; этим наименованием все согласно признают единую природу его божественного величия, какова бы ни была она. Утошийцы не творят никаких молитв, которых каждый не мог бы произнести без оскорбления своей секты.

Итак, в конечные праздники они натощак вечером собираются в храм с тем, чтобы благодарить бога за благополучно проведенный год или месяц, последний день которого составляет этот праздник. На следующий день, то-есть в первый праздник, они рано утром стекаются во храм для совместной молитвы о благополучном и счастливом продолжении наступающего года или месяца, который они готовятся освятить этим праздником. Но в конечные праздники, до отправления в храм, жены припадают к ногам мужей, дети — родителей, признают свои прегрешения в том, что они или совершили что-нибудь не подобающее или небрежно относились к своим обязанностям, и молят о про-

щении своих заблуждений. Таким образом, всякое облачко, омрачавшее домашний раздор, рассеивается от подобного извинения, и они могут участвовать в богослужении с чистым и ясным настроением. Присутствие же там с нечистой совестью считается греховным. Поэтому человек, сознающий за собою ненависть или гнев на кого-нибудь, идет на богослужение, только примирившись и очистившись; иначе он опасается быстрого и тяжкого возмездия.

По приходе в храм мужчины направляются на правую сторону его, а женщины отдельно на левую. Затем они размещаются так, что мужчины каждого дома садятся впереди отца семейства, а вереницу женщин замыкает мать семейства. Это делается в тех видах, чтобы все движения каждого вне дома подлежали наблюдению со стороны тех, чей авторитет и надзор руководит ими дома. Мало того, они старательно следят также за тем, чтобы младшие сидели там повсюду бок-о-бок со старшими, иначе дети, порученные детям же, будут проводить в детских шалостях то время, когда они должны особенно проникаться религиозным страхом к всевышним, а это служит главнейшим и почти единственным поощрением к добродетели.

Утопийцы не закалывают на богослужении никаких животных и не думают, чтобы бог, даровавший в своем милосердии жизнь людям для жизни же, находил удовольствие в крови и убийствах. Они зажигают ладан, равно как и другие благовония, и сверх этого приносят массу восковых свечей. Им отлично известно,

что это, равно как и самые молитвы людей, отнюдь не нужно для природы божества, но им нравится подобный безвредный род богопочитания, и они чувствуют, что этот запах, освещение, равно как и прочие обряды, каким-то непонятным образом возвышают людей и пробуждают в них большую бодрость для поклонения богу. Народ в храме одет в белое платье; священник облекается в разноцветное, удивительное по работе и по форме. Материя его не очень дорогая: она не выткана из золота и не украшена редкостными камушками, но очень умело и с замечательным искусством выделана из птичьих перьев, так что стоимость работы не может сравняться ни с какой материей. К тому же, по словам утопийцев, в перьях и пухе этих птиц и в их определенном расположении, в котором они чередуются на одежде священника, заключается некий таинственный смысл. Истолкование его, которое тщательно передается священнослужителями, должно напоминать о благодеяниях божиих к ним, равно как и об их благочестии к богу и о взаимных обязанностях друг к другу [222].

Когда священник в таком наряде впервые появляется из святилища, все немедленно с благоговением падают ниц на землю. При этом со всех сторон царит самое глубокое молчание, так что самая внешность этого обряда внушает известный страх, как будто от присутствия какого-нибудь божества. Полежав немного на земле, они поднимаются по данному священником знаку. Затем они поют хвалы богу, которые чередуют с игрой на музыкальных инструмен-

тах, по большей части другой формы, чем те, которые имеются у нас. Большинство из этих инструментов своею приятностью превосходит употребительные у нас, а с другой стороны, их нельзя даже и сравнивать с нашими. Но в одном отношении, без сомнения, утопийцы значительно превосходят нас: вся их музыка [223], гремит ли она на органах или исполняется голосом человека, весьма удачно изображает и выражает естественные ощущения; звук вполне приспосабливается к содержанию, есть ли это речь молитвы, или радость, умилостивление, тревога, печаль, гнев; форма мелодии в совершенстве передает определенный смысл предмета. В результате она изумительным образом волнует, проникает, зажигает сердца слушателей.

Напоследок священник, равно как и народ, торжественно произносят праздничные молитвы. Они составлены так, что читаемое всеми вместе каждый в отдельности может относить к самому себе. В этих молитвах всякий признает бога творцом, правителем и кроме того подателем всех прочих благ; воздает ему благодарность за столько полученных благодеяний, а особенно за то, что попал в такое государство, которое является самым счастливым, получил в удел такую религию, которая, как он надеется, есть самая истинная. Если же молящийся заблуждается в этом отношении, или если существует что-нибудь лучшее данного государственного строя и религии, и бог одобряет это более, то он просит, чтобы по благости божией ему позволено было познать это; он готов следо-

вать, в каком бы направлении бог ни повел его. Если же этот вид государства есть наилучший и избранная им религия — самая правильная, то да пошлет ему бог силу держаться того и другого, и да приведет он всех остальных смертных к тем же правилам жизни, к тому же представлению о боге. Правда, может быть, неисповедимая воля находит удовольствие в подобном разнообразии религий. Наконец, утопиец молится, чтобы бог принял его к себе после легкой кончины; конечно, молящийся не дерзает определить, будет ли это скоро или поздно. Правда, насколько это позволительно совместить с величием божиим, для утопийца будет гораздо приятнее перейти к богу после самой тяжелой смерти, чем вести долгую удачную жизнь вдали от него. После произнесения этой молитвы они снова падают ниц на землю и, встав через короткое время, идут обедать, а остаток дня проводят в играх и в занятиях военными науками.

Я описал вам, насколько мог правильно, строй такого общества [224], какое я во всяком случае признаю не только наилучшим, но также и единственным, которое может присвоить себе с полным правом название общества. Именно, в других странах повсюду говорящие об общественном благополучии заботятся только о своем собственном. Здесь же, где нет никакой частной собственности, они фактически занимаются общественными делами. И здесь и там такой образ действия вполне правилен. Действительно,

в других странах каждый знает, что, как бы общество ни процветало, он все равно умрет с голоду, если не позаботится о себе лично. Поэтому в силу необходимости он должен предпочитать собственные интересы интересам народа, то-есть других. Здесь же, где все принадлежит всем, наоборот, никто не сомневается в том, что ни один частный человек не будет ни в чем терпеть нужды, стоит только позаботиться о том, чтобы общественные магазины были полны. Тут не существует неравномерного распределения продуктов, нет ни одного нуждающегося, ни одного нищего, и хотя никто ничего не имеет, тем не менее все богаты. Действительно, может ли быть лучшее богатство, как лишенная всяких забот, веселая и спокойная жизнь? Тут не надо тревожиться насчет своего пропитания; не приходится страдать от жалобных требований жены, опасаться бедности для сына, беспокоиться о приданом дочери. Каждый может быть спокоен насчет пропитания и благополучия как своего, так и всех своих: жены, сыновей, внуков, правнуков, праправнуков и всей длинной вереницы своих потомков, исчисление которой принято в знатных родах. Далее, о потерявших работоспособность утопийцы заботятся нисколько не меньше, как и о тех, кто работает теперь. Хотел бы я, чтобы кто-нибудь посмел сравнить с этим беспристрастием справедливость других народов. Да провалиться мне, если я найду у них какой-нибудь след справедливости и беспристрастия! В самом деле, возьмем какого-нибудь дворянина, золотых дел мастера[225], ростовщика или кого-нибудь

другого подобного. Какая же это будет справедливость, если все эти люди совершенно ничего не делают, или дело их такого рода, что не очень нужно государству, а жизнь их протекает среди блеска и роскоши, и проводят они ее в праздности или в бесполезных занятиях? Возьмем теперь, с другой стороны, поденщика, ломового извозчика, рабочего, земледельца. Они постоянно заняты усиленным трудом, какой едва могут выдержать животные; вместе с тем труд этот настолько необходим, что ни одно общество не просуществует без него и года, а жизнь этих людей настолько жалка, что по сравнению с ними положение скота представляется более предпочтительным. В самом деле, скот не несет постоянно такого труда, питание его только немного хуже, а для него и приятнее, и наряду с этим у него нет никакого страха за будущее. Что же касается людей, то их угнетает в настоящем бесплодный и безвыгодный труд и убивает мысль о нищенской старости. Поденная плата их слишком мала, чтобы ее хватало на потребности того же дня; нечего и говорить тут, чтобы ежедневно оставался какой-нибудь излишек для сбережения на старость.

Можно ли назвать справедливым и благодарным такое общество, которое столь расточительно одаряет так называемых благородных, золотых дел мастеров и остальных людей этого рода, ничего не делающих, живущих только лестью и изобретающих никчемные удовольствия, а, с другой стороны, не выказывает ни малейшей заботы о земледельцах, угольщиках, поденщиках, ломовых извозчиках и ра-

бочих, без которых не было бы вообще никакого общества? Мало того, после эксплоатации цветущей поры их жизни оно не вспоминает об их неусыпном старании, забывает о стольких тяжких трудах их, а когда на них обрушатся старость и болезни, с самой черствой неблагодарностью вознаграждает их жалкой смертью. Далее, из поденной платы бедняков богачи ежедневно урывают кое-что не только личными обманами, но также и на основании государственных законов [226]. Таким образом, если раньше представлялось несправедливым отплачивать черной неблагодарностью за усердную службу на пользу общества, то они извратили это так, что сделали справедливостью путем обнародования особых законов.

При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как некиим заговором богачей [227], ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удержать без страха потери то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за возможно дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплоатировать их, как вьючный скот [228]. Раз богачи постановили от имени государства, значит также и от имени бедных, соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законами. Но и тут, когда эти омерзительные люди, в силу своей ненасытной алчности, поделили в своей среде все то, чего хватило бы

на всех, как далеки они все же от благоденствия государства утопийцев! Выведя деньги из употребления, они совершенно уничтожили всякую алчность к ним, а какая масса тягостей пропала при этом! Какой посев преступлений вырван с корнем! Кто не знает, что с исчезновением денег совершенно отмирают все те преступления, которые подвергаются ежедневной каре, но не обузданию, а именно: обманы, кражи, грабежи, ссоры, восстания, споры, мятежи, убийства, предательства, отравления; вдобавок вместе с деньгами моментально погибнут страх, тревога, заботы, труды, бессонница. Даже сама бедность, которая, повидимому, одна только нуждается в деньгах, немедленно исчезла бы с совершенным уничтожением денег.

Чтобы это было яснее, вообрази себе какой-нибудь бесплодный и неурожайный год, в который голод унес много тысяч людей. Я решительно утверждаю, что если в конце этого бедствия порастрясти житницы богачей, то там можно было бы найти огромное количество хлеба; и если бы распределить этот запас между теми, кто погиб от недоедания и изнурения, то никто и не заметил бы подобной скупости климата и почвы. Так легко можно было бы добыть пропитание, но вот пресловутые блаженные деньги, прекрасное изобретение, открывающее доступ к пропитанию, одни только и загораживают дорогу к пропитанию. Не сомневаюсь, что богачи тоже чувствуют это; они отлично знают, что лучше быть в таком положении, чтобы ни в чем не нуждаться, чем иметь в изобилии много лишнего; лучше изба-

виться от многочисленных бедствий, чем быть осажденным большими богатствами. Мне и в голову не приходит сомневаться, что весь мир легко и давно уже принял бы законы утопийского государства как из соображений собственной выгоды, так и в силу авторитета Христа-спасителя, который по своей величайшей мудрости не мог не знать того, что лучше всего, а по своей доброте не мог не посоветовать того, что он знал за самое лучшее. Но этому противится одно чудовище, царь и отец всякой гибели,— гордость. Она меряет благополучие не своими удачами, а чужими неудачами. Она не хотела бы даже стать богиней, если бы не оставалось никаких несчастных, над которыми она могла бы властвовать и издеваться; ей надо, чтобы ее счастье сверкало при сравнении с их бедствиями, ей надо развернуть свои богатства, чтобы терзать и разжигать их недостаток. Эта адская змея [229] пресмыкается в сердцах людей и, как рыба подлипало [230], задерживает и замедляет избрание ими пути к лучшей жизни.

Так как она слишком глубоко внедрилась в людей, чтобы ее легко можно было вырвать, то я рад, что по крайней мере утопийцам выпало на долю государство такого рода, который я с удовольствием пожелал бы для всех. Они последовали в своей жизни именно таким уставам и заложили на них основы государства не только очень удачно, но и навеки, насколько это может предсказать человеческое предположение. Они истребили у себя с прочими пороками корни честолюбия и раздора, а потому им не грозит никакой опасности, что они будут стра-

дать от внутренних раздоров, исключительно от которых погибли многие города с их прекрасно защищенными богатствами. А при полном внутреннем согласии и наличии незыблемых учреждений эту державу нельзя потрясти и поколебать соседним государям, которые под влиянием зависти давно уже и неоднократно покушались на это, но всегда получали отпор.

Когда Рафаил изложил все это, мне сейчас же пришло на ум немало обычаев и законов этого народа, заключающих в себе чрезвычайную нелепость. Таковы не только способ ведения войны, их церковные обряды и религии, а сверх того и другие их учреждения, но особенно то, что является главнейшей основой их устройства, а именно, общность их жизни и питания при полном отсутствии денежного обращения. Это одно совершенно уничтожает всякую знатность, великолепие, блеск, что, по общепринятому мнению, составляет истинную славу и красу государства. Но я знал, что Рафаил утомлен рассказом, и у меня не было достаточной уверенности, может ли он терпеливо выслушать возражения против его мнения, а в особенности я вспоминал*, как он порицал некоторых за их напрасное опасение, что их не сочтут достаточно умными, если они не найдут в речах других людей того, за что их можно продернуть. Поэтому, похвалив устройство утопийцев и речь Рафаила, я взял его за руку и повел в дом ужинать. Правда, я сделал оговорку, что у нас будет еще время поглубже подумать об

---

* См. стр. 53.

этом предмете и побеседовать с рассказчиком поосновательнее. Хорошо, если бы это когда-нибудь осуществилось! Между тем я не могу согласиться со всем, что рассказал этот человек, во всяком случае и бесспорно глубоко образованный и очень опытный в понимании человечества; но, с другой стороны, я охотно признаю, что в утопийской республике имеется очень много такого, чего я более желаю в наших государствах, нежели ожидаю.

Конец послеполуденной беседы, которую вел Рафаил Гитлодей о законах и обычаях острова Утопии, известного доселе немногим, в записи славнейшего и ученейшего мужа г. Томаса Мора, лондонского гражданина и виконта.

КОММЕНТАРИИ

Утопия — слово, составленное из греческих слов: ου — отрицание, и τοπος — место, т. е. несуществующее место. В дальнейшем это слово стало нарицательным.

1. *Томас Мор—Эгидию.*—Так начинали свои письма древние римляне, которым подражает Мор. Петр Эгидий (по-латыни Petrus Aegidius, или Gillius; по-английски Petre Gilles; 1486—1533) — гуманист, друг Мора и Эразма Роттердамского.

2. *Мой питомец Иоанн Клемент* — в оригинале: Joannes Clemens, puer meus. Слово puer значит собственно мальчик. Иоанн, или Джон Клемент вырос в доме Мора и женился на его приемной дочери. Он работал в Оксфордском университете при кафедре греческого языка и затем был врачом в Лондоне (ум. в 1572 г.).

3. *Гитлодей* — см. примеч. 19.

4. *Амауротский мост* и *река Анидр* — см. примеч. 113 и 119.

5. *Скорее скажу ложь, чем допущу ее* — в оригинале: potius mendacium dicam quam mentiar. Выражение в духе схоластической философии. Между синонимическими выражениями mendacium dicere (сказать ложь) и mentiri (солгать) усматривается следующее различие (Авл. Геллий, II век, „Аттические ночи", XI, II): „Кто лжет (mentitur), сам не обманывается,

а старается обмануть другого: кто говорит ложь (mendacium dicit), тот обманывается сам".

6. *несколько лиц, а в особенности одно...*—Имеется в виду один из действительных знакомых автора.

7. *весело живут в свое удовольствие* — в оригинале поговорочное выражение: indulgent genio („угождают гению"). Гений — божество древнеримских народных верований, проникшее в неоплатонизм, а оттуда в христианство в виде ангела-хранителя. „Гений — это то, что в нас хочет; кто живет, как ему хочется, тот угождает своему гению (indulget genio)" (Зелинский, „Из жизни идей", III, 17).

8. *в греческой поговорке.*— Слово *греческой* прибавлено нами: в оригинале поговорка приведена по-гречески (ἑζω βέλουσ).

9. *ни одного волоска честного человека...*— в оригинале: ne pilum quidem habeant boni viri. Все переводчики принимают boni viri за родительный падеж единственного числа, но это скорее именительный множественного. Тогда перевод будет следующий: „эти милые люди [в ироническом смысле] не имеют и волоска, за который можно было бы ухватиться".

10. *...немаловажные спорные дела.*—Ссора между английским королем Генрихом VIII (1491—1547) и испанским принцем Карлом (впоследствии германским императором; была вызвана тем, что Карл, обрученный с сестрой Генриха, предпочел ей другую невесту. Поэтому, когда он в 1515 г. получил в управление Нидерланды, Генрих заставил английский парламент запретить вывоз шерсти в эту страну. Улаживание конфликта было поручено в 1515 г. английскими купцами Мору.

11. *Кутберт Тунсталл* (1474—1559) — занимал ряд очень видных светских и духовных должностей; был другом Эразма и Мора и разделял их либеральные убеждения.

12. *освещать солнце лампой.*— В оригинале слову „лампа" соответствует lucerna. В одной из своих английских речей Мор передал слово lucerna словом „свеча" (candle). Обилие в „Утопии" пословиц объясняется влиянием вышедшего в 1500 г. огромного сборника их („Adagia"), составленного Эразмом Рот-

тердамским. Эта книга, знакомившая с античным мировоззрением в форме кратких, ясных и остроумных изречений, имела большой успех.

13. *Бругге* — столица Западной Фландрии (в настоящее время один из городов Бельгии).

14. *Георгий Темзиций* — личность малоизвестная. Обычно его отожествляют с Georg Temsecke, бельгийским сановником и писателем (ум. в 1536 г.). *Кассель* — вероятно, город в северной Франции, где Темзиций занимал видный церковный пост.

15. *ради него самого* — в оригинале: sua (causa). Так как печатные тексты „Утопии" не могут быть признаны вполне надежными, то, может быть, здесь лучше читать tua, т. е. „ради тебя". Эгидий хочет угодить самому Мору, доставив ему случай познакомиться с Гитлодеем; ср. ниже: „а я знаю, что ты большой охотник послушать это".

16. *Палинур* — ничем не замечательный кормчий кораблей троянского царевича Энея (по „Энеиде" Вергилия). Здесь — в смысле „заурядный моряк".

17. *Улисс* (или Одиссей) — герой поэмы Гомера „Одиссея". В своих долголетних странствованиях после разрушения Трои он приобрел большой опыт и знание людей.

18. *Платон* — греческий философ (429—348 до н. э.). Он ездил в Египет, Сицилию и другие страны с целью расширения своих знаний и проведения в жизнь своих философских взглядов, которые в области учений об обществе сводились к идеалу потребительского коммунизма и кастового строя на базе рабского труда.

19. *Гитлодей* — греческое слово; первая часть его: ὔθλος — пустая болтовня, вздор; вторая: δαΐος — опытный, сведущий, или δαίειν разделять. Этой фамилией Мор хотел подчеркнуть, что речь идет о лице несуществующем. В уста Гитлодея Мор в дальнейшем из осторожности влагает собственные мысли, а сам выступает его противником перед цензурой. Слово ὔθλος встречается в начале „Государства" Платона.

20. *Сенека* (1—65 н. э.) — римский философ, воспитатель императора Нерона.

21. *Цицерон* (106—43 до н. э.) — римский писатель

и оратор, популяризатор греческой философии. Сам Мор предпочитал греческих писателей латинским.

22. *Америго Веспуччи* (1451—1512) — флорентийский мореплаватель, четыре раза посетивший Новый Свет и давший первое научное его описание. Благодаря этому новая часть света, хотя и открытая Колумбом, получила название Америки.

23. „Путешествия" Веспуччи были изданы в прибавлении к „Cosmographiae introductio", St. Die 1507 („Введение в космографию", С.-Дье 1507).

24. *оставлен в крепости* — у Кабо (мыс) Фрио в Бразилии. Этот эпизод действительно имел место во время последнего путешествия Веспуччи, в 1503 г.

25. *„небо покрывает того..."* — стих римского поэта I века н. э. Лукана („Фарсалия", VII, 819).

26. *„дорога к всевышним отовсюду одинакова"*.— Аналогичное изречение приписывается греческому философу Анаксагору (V век до н. э.). На вопрос друзей, не хочет ли он быть погребенным на родине, он ответил: „Нет никакой необходимости, ибо дорога в преисподнюю отовсюду одинакова" (Цицерон, „Тускуланы", I, 104).

27. *Цейлон* — остров к юго-востоку от Индостана. В оригинале он назван испорченным греческим именем Taprobane.

28. *Каликвит* — Н. Каликут, город Малабарской Индии (не смешивать с Калькуттой).

29. *Папирус* — тростниковое растение, растущее в дельте Нила (Cyperus papyrus L.), сердцевина которого служила древним египтянам материалом для изготовления бумаги.

30. *Сцилла* (греч. миф.)—чудовище, олицетворявшее скалу в Мессинском проливе.

31. *Целено* (греч. миф.) — одна из трех гарпий, мифических чудовищ с лицом девушки, телом коршуна и огромными когтями. Гарпии отличались прожорливостью.

32. *Лестригоны* — древнеиталийский народ, якобы живший в Кампании, а затем в Сицилии. По преданию, лестригоны были людоедами. *Пожирающие народы* — в оригинале: populivoros — выражение, придуманное Мором. Это место представляет собой на-

смешку над тогдашними описаниями морских путешествий, полными небылиц.

33. *служить — услужить.* — В оригинале игра слов: servire (служить в смысле: быть рабом) и inservire (служить, т. е. угождать).

34. Король Генрих VII, усердно старавшийся пополнить свою казну, истощенную в войнах, обложил население страны тяжелыми налогами. В 1491 г., еще не оправившиеся от разорения, причиненного длительными войнами, жители графства Корнуэлл (на северо-западе Англии) восстали против короля и двинулись на Лондон, но потерпели поражение и были перебиты.

35. *Иоанн Мортон* (1420—1500) — государственный деятель, игравший видную роль в войне Алой и Белой Розы. Сторонник Ланкастерской династии, он принимал участие в ее походе в 1461 г. и затем в коронации принца Эдуарда. Он имел благотворное влияние на Мора, который провел часть своей молодости в его доме.

36. Вероятно, имеются в виду осада Булона Генрихом VII в 1492 г. и военные действия при Генрихе VIII.

37. *арендаторов* — в оригинале: colonos; перевод Робинзона: tenauntes; но Каутский (стр. 233) переводит: крестьян (Bauern).

38. *умные дураки* — в оригинале греческое слово: morosophi, встречающееся всего один раз у греческого сатирика II века Лукиана („Александр, или лживый прорицатель", гл. 40).

39. *Саллюстий* (86—34 до н. э.) — римский историк. Цитата взята из его сочинения „О заговоре Катилины", гл. 16.

40. В знаменитом памфлете против обскурантизма и католической схоластики — „Письма темных людей", вышедшем почти одновременно с „Утопией", имеется намек на обилие овец в Англии: один обскурант шлет другому больше поклонов, „чем... в Англии овец" (кн. II, письмо 16). Упоминание об этом у К. Маркса („Капитал", т. I, изд. 6-е, стр. 577, примеч. 193): „В своей „Утопии" Томас Мор говорит об удивительной стране, где „овцы пожирают людей" (Utopia, transl. Robinson, ed. Arber, London 1869, p. 41)".

Крылатое слово Мора о прожорливости овец попало в английскую народную поэзию (Каутский, стр. 212, примеч.).

41. *Таким образом, с тех пор...* — Это место приведено почти в дословном переводе у Маркса („Капитал", т. I, изд. 6-е, стр. 590—591, примеч. 221а): „Томас Мор говорит в своей „Утопии": „Так-то и случается, что жадный и ненасытный обжора, настоящая чума своей родины, собирает в своих руках тысячи акров земли и обносит их плетнем или забором, или своими насилиями и притеснениями доводит собственников до того, что они вынуждены продать все свое имущество. Тем и другим способом, не мытьем, так катаньем, донимают их, и они, наконец, вынуждены выселиться — эти бедные, простые, несчастные люди! Мужчины и женщины, мужья и жены, сироты и вдовы, объятые отчаянием матери с грудными детьми, все домочадцы, бедные средствами к жизни, но многочисленные, так как земледелие требовало многих рабочих рук. Они бредут прочь, говорю я, покидают свои привычные родные места и нигде не находят приюта. Продажа всей домашней утвари, хотя и не имеющей большой ценности, могла бы при других условиях оказать им некоторую помощь; но, внезапно выброшенные на улицу, они вынуждены распродавать имущество за бесценок. И когда этими несчастными скитальцами истрачено все до последней копейки, то, скажите бога ради, что же им остается делать, как не красть? Но тогда их заключают в тюрьму, как бродяг, за то, что они шатаются без дела: их обвиняют в бездельничестве,— их, которым ни одна душа не хочет дать работы, как бы ревностно они ее ни добивались". Оригиналом Марксу служил очень точный старый английский перевод Робинзона (см. примеч. 40).

42. *Олигополия*—право немногих на торговлю; слово, образованное Мором по образцу „монополия", из греческих слов: ὀλίγος — немногий и πωλέω — торгую.

43. *то самое* — в оригинале: iam ipsam, т. е. уже самое. Для большего соответствия с предыдущим quare — insula мы позволяем себе читать: eam ipsam, сообразно с чем и дан перевод.

44. *Стопка* — в оригинале: fritillus; повидимому, имеется в виду игра в кости, при которой их выбрасывали не из руки, а из стакана или „стопки".

45. *Диск* — снаряд для метания, утолщающийся к середине круг из камня или металла, бывший в употреблении при гимнастических упражнениях еще у древних греков.

46. *высшее право высшею несправедливостью* — в оригинале: summum ius — summa iniuria. Уже Цицерон („Об обязанностях", 1, 10, 33) называет это выражение „избитой поговоркой". Смысл его тот, что чересчур прямолинейное, формальное применение законов приводит к несправедливости.

47. Римский полководец *Манлий Торкват* (IV век до н. э.) велел казнить собственного сына за нарушение дисциплины, после того как тот вступил в битву вопреки строгому запрещению отца.

48. *Стоиками* назывались последователи философской школы, основанной Зеноном (ок. 300 г. до н. э.) и получившей название от галлереи в Афинах (stoa), где Зенон излагал свое учение. Один из догматов стоицизма, в духе характерного для этой философской системы отвлеченного морализирования, гласил: „Все грехи равны между собой, все они — нечестивые преступления; одинаково виновен тот, кто без нужды задушил петуха, как и тот, кто задушил отца" (Цицерон, речь „За Мурену", гл. 29, перевод проф. Зелинского).

49. Исход, XXII, 1—9.

50. Т. е. в евангелии.

51. Это же рассуждение повторяет французский утопист Ретиф де-ла-Бретонн (1734—1806). См. „Известия Академии наук", 1931, № 7, стр. 838, примеч. 1.

52. *Полилериты*...—Это название составлено из двух греческих слов: πολύς — многий, и λῆρος — нелепая болтовня, вздор; этим Мор хотел, вероятно, сказать, что верить в существование такого народа нелепо.

53. Это наказание существовало в Англии при Генрихе VIII. „При рецидиве бродяжничества наказание плетьми повторяется, и кроме того отрезывается половина уха" (Маркс, „Капитал", т. I, изд. 6-е, стр. 589).

54. *заповедных мест* — в оригинале: asylorum, т. е.

убежищ, укрывшись в которые преступник считался неприкосновенным; такими местами были прежде всего церкви и их дворы, например Вестминстерское аббатство в Лондоне.

55. Законы о бродяжничестве были очень суровы. „В конце XV и в течение всего XVI века во всех странах Западной Европы издаются кровавые законы против бродяжничества...“ „Во времена Елизаветы бродяг вешали целыми рядами, и не проходило года, чтобы в том или другом месте не было повешено их триста или четыреста человек“ (Маркс, „Капитал“, т. I, изд. 6-е, стр. 589 и 591, примеч. 221а).

56. *блюдолиз* — в оригинале: parasitus; это греческое слово составлено из παρά — возле, и σῖτος хлеб, и значит буквально: прихлебатель. В древнем Риме слово „паразит“ не имело унизительного значения, а представляло собой термин, обозначавший определенную социальную категорию — именно, людей, состоявших при богатых и знатных особах в качестве полудомочадцев-полуслуг.

57. *при частой игре добьешься и выигрыша* — в оригинале: crebro iactu iaci aliquando Venerem, т. е. при частом бросании костей можно когда-нибудь выбросить и Венеру. У древних римлян „Венерой“ при игре в кости называлось самое счастливое расположение их, когда четыре кубика сверху показывали разные числа; наоборот, самым неудачным считалось, когда все четыре кубика сверху показывали 1,— это называлось „собакой“ (canis).

58. *Бенедиктинцы* — самый значительный и богатый из католических монашеских орденов, получивший название от своего основателя — Бенедикта Нурсийского (480—543).

59. Этот эпизод, начиная со слов: „Кардинал улыбнулся“, и кончая: „отпустив нас“ (стр. 61), подпал под папскую цензуру. Он опущен в издании „Утопии“, вышедшем в Кельне в 1629 г., где на заглавном листе стоит, что издание „исправлено согласно списку очищенных книг кардиналом и епископом толедским“.

60. *пораженный такою колкостью* — в оригинале: tali perfusus aceto, т. е. облитый таким уксусом; эти слова являются подражанием римскому поэту I века

до н. э. Горацию, у которого („Сатиры", I, 7, 32) сказано: „облит италийским уксусом", т. е. осыпан меткими и колкими шутками, присущими уроженцам Италии.

61. *в своей тарелке* — в оригинале другая метафора: in sua palaestra; греческое слово palaestra значит: место для гимнастических упражнений.

62. Лука, XXI, 19.

63. Псалом IV, 5.

64. Псалом LXVIII, 9; *усердие* — в оригинале греческое слово: zelus, которое так же, для единообразия, переведено и в дальнейшем, хотя там оно сказано в смысле „гнев".

65. *Елисей* — древнееврейский пророк; плешивость его вызвала однажды насмешки мальчиков, Елисей разгневался, и, по его молитве, из соседнего леса вышли две медведицы и растерзали сорок два ребенка (II кн. Царств, гл. II). Упоминаемая монахом церковная песнь была составлена средневековым композитором Адамом „из монастыря святого Виктора". Рифма (смеялся — направлялся) не случайна, так как она имеется и в оригинале (Irrisores — *Helisaei* Dum conscendit domum *dei*).

66. Притчи, XXVI, 4.

67. *Булла* — указ папы, называемый так по прикрепленной к нему свинцовой печати.

68. См. „Государство" Платона, V, 473. Цитата Мора не совсем точна: „Если в государствах не будут или царствовать философы, или так называемые ныне цари и владыки искренно и удовлетворительно философствовать, и государственная сила и философия не совпадут в одно и то же... то ни для государства, ни даже, как я полагаю, и для человеческого рода не возможен конец злу".

69. *Дионисий Младший* — тиран (правитель) Сицилии (357—354 до н. э.). Дионисий пригласил Платона, чтобы учиться у него управлять государством, но серьезного влияния Платон на Дионисия не оказал, и положение философа при дворе Дионисия было столь шатким, что даже жизнь его, в силу придворных интриг, подвергалась опасности.

70. *Людовик XII* (1462—1515) — французский король с 1498 г.

71. *Милан* — итальянский город, в описываемое время принадлежавший фамилии Висконти; одна из представительниц этого рода приходилась бабушкой Людовику XII.

72. Эпитет *беглый* объясняется тем, что Неаполь ускользал от пытавшихся захватить его французских королей.

73. По договору в Камбре (1508) Венеция была разделена между Людовиком XII, Фердинандом Испанским, Максимилианом I Австрийским и папой Юлием II.

74. В описываемое время Италия состояла из пяти отдельных и независимых государств (Милан, Флоренция, Рим, Венеция и Неаполь) и ряда мелких феодальных владений, связанных с ними.

75. В 1477 г. французский король Людовик XI после смерти бургундского герцога Карла Смелого захватил Бургундию. В то же время вследствие брака дочери Карла Марии с Максимилианом I Австрийским Фландрия и Брабант оказались присоединенными к Австрии.

76. Здесь в оригинале начинается огромный период в 66 строк. Конец его — в нашем переводе на стр. 66 („...подобная речь?“).

77. Германцы и швейцарцы в те времена часто нанимались на военную службу в другие государства.

78. Императором Священной римской империи в то время был Максимилиан австрийский (1493—1519), отличавшийся алчностью.

79. *Король Арагонии* — Фердинанд, тесть английского короля Генриха VIII.

80. *Наварра* — область на границе Франции и Испании. Владение ею неоднократно переходило по женской линии от одного французского знатного семейства к другому, но аррагонские (испанские) короли постоянно изъявляли на нее притязания.

81. *Кастилия* — область Испании, в XI—XV вв. была самостоятельным королевством. Во время написания „Утопии“ шли переговоры о заключении союза между ней и Францией путем брака кастильского принца с дочерью Людовика XII.

82. *затруднение* — в оригинале: nodus — узел.

83. Франция поддерживала исконную неприязнь шотландцев к угнетавшей их Англии, чтобы иметь их союзниками в случае войны с последней.

84. *повернуть паруса обратно* — в оригинале: verti vela; перевод дан нами по аналогии с сочетанием: terga vertere — повернуть тыл, но другие переводчики „Утопии" понимают это выражение в смысле: дать парусам другое направление, принять новый политический курс.

85. *Ахорийцы* — греческое слово, составленное из отрицательной частицы ἀ и χώρα (страна): народ несуществующей страны. Образование, аналогичное слову Утопия.

86. Такие операции с деньгами производили английские короли Эдуард IV и Генрих VII.

87. Подобную военную демонстрацию проделал английский король Генрих VII в 1492 г. Двинувшись на Францию, он поспешил заключить с ней мир, не начиная военных действий.

88. Это также имело место при Генрихе VII.

89. Такие манипуляции производились в Англии с продажей соли, особенно при королеве Елизавете (1558—1603). Она облагала спекулянтов большими штрафами и полученными от этого деньгами делилась с теми же лицами.

90. Имеется в виду известное английское положение: „Король не ошибается" (King does no vrong).

91. *Красс* — богатый римлянин, член первого триумвирата вместе с Цезарем и Помпеем (60 г. до н. э.). Мор имеет здесь в виду текст римского писателя I века Плиния Старшего („Естественная история", XXXIII, 10): „Марк Красс признавал богачом только того, кто на свой годичный доход может содержать легион" (воинская часть в три тысячи человек).

92. *революции* — в оригинале: rebellandi — буквально: снова начать войну; снова восстать.

93. Платон („Государство", I, 343): „Ты думаешь, будто овчары или волопасы заботятся о благе овец либо быков, кормят их и ходят за ними, имея в виду что-нибудь другое, а не благо господ и свое собственное". Ср. также I, 345.

94. *Фабриций* (III век до н. э.) — римский консул

и полководец. Приведенное изречение Мора имеется у римского писателя I века Валерия Максима (IV, 5), где оно приписано другому полководцу, Марку Курию Дентату: „Он предпочитает командовать богачами, чем сам стать богачом".

95. Макарийцы — от греческого μακαρ,— блаженный, счастливый.

96. Английские комментаторы отмечают, что Генрих VII, умирая, оставил 1 800 000 фунтов стерлингов.

97. *Схоластикой* называлась средневековая философия, отличавшаяся крайней отвлеченностью и формализмом и представлявшая собой „служанку теологии". В качестве гуманиста Мор не мог не относиться к ней отрицательно. В данном контексте, повидимому, подчеркивается непригодность ее к жизни.

98. *Плавт,* Тит Макций (ок. 254—184 до н. э.) — римский комедийный писатель.

99. Рабы играли большую роль в античной комедии.

100. *„Октавия"* — трагедия, приписываемая римскому писателю и философу Сенеке, но ему не принадлежащая. Октавия — имя жены римского императора Нерона, им отвергнутой. Может быть, здесь имеется в виду следующий диалог во втором акте трагедии: „Нерон. Ленивцу свойственно не знать, что ему можно.— Сенека. Похвально делать то, что пристойно, а не то, что можно.— Нерон. Толпа топчет лежащего.— Сенека. Она же задавит ненавистного".

101. „Государство" Платона было хорошо изучено Мором, и он, как это уже неоднократно нами отмечалось, часто ссылается на него в „Утопии".

102. Лука, XII, 3.

103. Место неясное. Повидимому, свинцовая линейка — это плотничий инструмент, вроде отвеса или лота, для определения соответственного направления при постройках. Сделанная из свинца, она, в силу своей гибкости, применялась при сооружении кривых „лесбийских" сводов. Английские комментаторы указывают на один текст „Этики" Аристотеля (V, 10, 7): „Относительно неопределенного можно дать лишь неопределенное правило, подобно тому как лесбийская архитектура нуждалась в свинцовом

лекале: как лекало меняется сообразно с формой камня и не остается одним и тем же, так и постановление, узаконенное путем голосования, применяется к обстоятельствам дела" („Этика" Аристотеля, Спб. 1908, стр. 104, перев. Радлова; в тексте книги опечатка: вместо „лесбийская" напечатано „либийская").

104. *Микион* — действующее лицо в комедии римского писателя Теренция (184—159 до н. э.) „Братья" (1, 2, 65).

105. „Государство" Платона, VI, 496: мудрец „сохраняет спокойствие и делает свое дело, подобно человеку, который от града и вздымаемого ветром бурного вихря спрятался под стеною: тот, смотря, как исполняются беззаконий другие, рад, если сам остается чистым от неправды и дел беззаконных, и, проводя таким образом здешнюю жизнь, с прекрасной надеждою, весело и кротко ожидает своего исхода".

106. У греческого писателя III века до н. э. Диогена Лаэрция в его биографии Платона (III, 17) сказано, что два греческих народа, соединившись вместе, основали государство значительной величины и просили философа дать ему надлежащее устройство. Но Платон не поехал к ним, когда узнал, что они несогласны на равноправие населения.

107. *Утопия* — см. в начале примечаний.

108. *Миля* — разумеется древнеримская миля, имевшая в длину тысячу двойных шагов (passus) — 1478,7 метра.

109. Английские комментаторы видят здесь намек на описание Британии у римского историка I—II вв. Тацита (биография Агриколы, гл. X): „Внешние очертания Британии... сравнивали с продолговатым блюдом или обоюдоострой секирой... Неизмеримое и огромное пространство земель, выступающих уже при конце берега, так сказать, суживается клином".

110. *Абракса* — в современном коптском языке это слово (в форме *абраксас,* или *абрасакс*) значит: „священное имя"; оно встречается у средневековых гностиков (философы, стремившиеся объединить христианское учение с основами греко-римского и древ-

них восточных мировоззрений) и алхимиков. Точное значение этого слова неизвестно; обычный его перевод: „неизреченное имя". По цифровому значению греческих букв оно равно 365, т. е. числу дней в году (см. Большую советскую энциклопедию, I, 79). Мор говорит дальше, что утопийцы чтили бога Митру, а у гностиков, на их геммах, т. е. каменных амулетах, слово *абраксас* часто соединялось с именем Митры.

111. Пятьдесят четыре города было в тогдашней Англии и Уэльсе. Каутский (стр. 267), по непонятной причине, дает двадцать четыре.

112. *города* — в оригинале: civitates (civitas — собственно значит: государство, общество граждан). Дальше они называются: urbes (urbs — город). Мор, повидимому, употребляет оба эти слова совершенно безразлично.

113. *Амаурот.* — Это название происходит от греческого слова ἀμαυρός — непознаваемый, темный. Отрицая этим именем существование подобного города в действительности, Мор вместе с тем намекает на „туманный" Лондон, многие черты которого он имеет в виду при последующем детальном описании Амаурота.

114. В издании А — двенадцать миль.

115. *семья* — в оригинале: familia. „У Мора основной ячейкой коммунистической организации является ремесленно-семейная группа, а не общественная мастерская" (В. П. Волгин, „Предшественники современного социализма", Гиз, 1928, стр. 56; ср. его же. „История социалистических идей", ч. 1, Гиз, 1928, стр. 140 сл.).

116. *рабов* — в оригинале: servos. Каутский (стр. 267) без всякого основания полагает, что это слово здесь лучше перевести: „слуга" (der Knecht), чем „раб" (der Sklave). Русский переводчик его книги показал, что Каутский вообще непоследователен в переводе этого слова.

117. *филарх* — греческое слово: начальник филы.

О филах см. классический труд Энгельса „Происхождение семьи, частной собственности и государства", гл. V.

118. Искусственное выведение цыплят было известно

до н. э. в Египте, Китае, Индии. В Египте оно производилось в печах, отапливаемых верблюжьим и конским навозом. В XIV веке в Италии делались попытки воскресить это утраченное искусство. В первой половине XVIII века Реомюр повторил эти опыты. Первый инкубатор в собственном смысле слова был сконструирован Боккеманом в 1777 г.

119. *Анидра* — от греческого: ἄνυδρος — из отрицательной частицы ἀν и ὕδωρ, т. е. река без воды — следовательно, несуществующая. Однако Мор, как явствует из его описания, несомненно, подразумевает Темзу.

120. Повидимому, Мор имеет в виду Лондонский мост (London Bridge), на котором впоследствии, по приговору суда, должна была быть выставлена голова Мора.

121. Английские комментаторы затрудняются определить, какую именно реку разумеет здесь Мор. Может быть, это несуществующая теперь часть реки Флет (Flete river).

122. *футов* — в оригинале: pedes. Здесь разумеется, вероятно, английский фут, а не римский (равный 0,2957 метра). При Море лондонские улицы имели в ширину от 10 до 12 футов, так что 20 футов была ширина идеальная.

123. В примечании на полях оригинала сказано: „Это отзывает Платоновым коммунизмом". Ср. „Государство", III, 416: „Во-первых, никто из них [воинов, высшего класса в идеальном обществе Платона] не должен иметь никакой собственности, кроме совершенно необходимого. Во-вторых, ни у кого из них не должно быть ни жилья, ни такой кладовой, куда не мог бы войти всякий желающий".

124. Стеклянные окна были во времена Мора только в домах богатых людей. Еще в 1567 г. для охраны оконных стекол, ввиду их исключительной редкости и ценности, издавались особые распоряжения.

125. *сифогрант-транибор* — в оригинале: Syphograntum-Traniborus. Этимология этих названий не выяснена. По замечанию на полях оригинала, *транибор* значит на языке утопийцев „первенствующий начальник" (praefectus primarius).

126. *князь* — в оригинале: principem. В первой части „Утопии" это слово передавалось словом „государь" (так же, как rex — словом „король"), но здесь, как и вообще во всей второй части, ввиду республиканского устройства „Утопии", оно передается словом „князь" (у Каутского: der Fürst). Это же обозначение применяет и Тацит, говоря о древних германцах. При написании настоящей главы Мор, повидимому, имел в виду XI и XII главы Тацитовой „Германии".

127. Ср. Тацит, „Германия", гл. XI: „О делах меньшей важности имеют совещание князья, о более важных весь народ, но так, что и все то, что решает народ, обсуждается предварительно князьями" (перевод проф. Модестова).

128. „Непосредственным поводом к изданию первого „Statute of Labourers" (23, Eduard III, 1349) (не причиной, потому что законодательство такого рода продолжает существовать целые столетия после того, как повод исчезнет) послужила великая чума, настолько уменьшившая население, что, по словам одного писателя-тори, „трудность найти рабочих по разумным ценам" (т. е. по ценам, которые оставляли бы их хозяевам разумное количество прибавочного труда) поистине стала невыносима. Поэтому закон начал принудительно диктовать разумную заработную плату, равно как и пределы рабочего дня. Последний пункт, который только нас здесь и интересует, принудительное установление рабочего дня, повторен в статуте 1496 года (при Генрихе VII). Рабочий день всех ремесленников (artificers) и земледельческих рабочих с марта до сентября должен был продолжаться — чего, однако, так и не удалось провести на практике — с 5 часов утра до 7—8 часов вечера; при этом время, назначенное на еду, составляло час на завтрак, полтора часа на обед и полчаса на полдник, т. е. как раз вдвое больше того, что назначает действующий и в настоящее время фабричный закон" (Маркс, „Капитал", т. I, изд. 6-е, стр. 196—197).

129. „Нельзя себе представить идеал будущего общества без соединения обучения с производительным трудом молодого поколения: ни обучение и образова-

ние без производительного труда, ни производительный труд без параллельного обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту, которая требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания. Эту мысль высказали еще старые великие утописты" (В. И. Ленин, Собрание сочинений, изд. 2-е, т. II, стр. 288).

130. *игру в шашки* — в оригинале: latrunculorum ludo, т. е. буквально: игру в разбойнички. Обычно переводят: „в шахматы". Может быть, Мор и имел их в виду, однако ludus latrunculorum, известная еще древним римлянам, судя по некоторым дошедшим до нас подробностям, была скорее игрою в шашки, чем в шахматы; так, надо было отобрать у противника его камушки или запереть их; проигравшим считался тот, кто не мог дальше двигаться; выигрыш считался тем более почетным, чем меньше камушков потерял победитель. Название этой игры „бой чисел" стоит в связи с тем, что при игре подсчитывали шашки, отобранные у противника.

131. Сведений про эту игру сохранилось очень мало. Обычно ее называют „морализованной игрой в шахматы". На образовательное назначение игр указывает Платон в „Законах" (I, 643): воспитатель „попытается при помощи этих игр направить вкусы и склонности детей к тому занятию, в котором они должны достичь впоследствии совершенства" (перевод Егунова).

132. „Если для производства средств существования рабочего, потребляемых им в среднем ежедневно, требуется шесть часов, то в среднем он должен работать по шесть часов в день, чтобы ежедневно производить свою рабочую силу или чтобы воспроизводить стоимость, получаемую при ее продаже" (Маркс, „Капитал", т. I, изд. 6-е, стр. 161).

133. *чернецы* — в оригинале: religiosorum, т. е. монахи.

134. *благородными и знатью* — в оригинале: generosos ac nobiles. Первое слово фонетически указывает на английское gentry (мелкое дворянство), второе соответствует понятию „лорд".

135. *Барзан* — слово, несомненно, иранского происхождения. Оно встречается дважды как собственное имя: так звали мифического царя Армении и одного из персидских сатрапов, современника Александра Великого. Оно может быть объяснено только из иранских языков и значит „высокий" (проф. А. А. Фрейман). *Адем* — слово, составленное (вероятно, самим Мором) из греческих: отрицания α' и δῆμος — народ, т. е. без народа, или несуществующий народ.

136. Ср. Маркса („Капитал", т. I, изд. 6-е, стр. 412): „Устранение капиталистического способа производства позволит ограничить рабочий день необходимым трудом... Чем сильнее растет производительная сила труда, тем больше может быть сокращен рабочий день, а чем короче рабочий день, тем сильнее может расти интенсивность труда. С общественной точки зрения производительность труда возрастает также с его экономией (бережливым и хозяйственным его применением). Последняя включает в себя не только экономию на средствах производства, но и устранение всякого бесполезного труда. Хотя капиталистический способ производства принуждает к экономии в каждом отдельном предприятии, тем не менее его анархическая система конкуренции вызывает безмерное расточение общественных средств производства и рабочих сил наряду с массою функций, в настоящее время неустранимых, хотя по существу дела излишних.

При данной интенсивности и производительной силе труда часть общественного рабочего дня, необходимая для материального производства, тем короче, следовательно, время, остающееся для свободной умственной и общественной деятельности индивидуума, тем больше, чем равномернее распределен труд между всеми дееспособными членами общества, чем меньше возможность для одного общественного слоя сбросить с себя и возложить на другой общественный слой естественную необходимость труда. С этой точки зрения абсолютная граница для сокращения рабочего дня устанавливается всеобщностью труда. В капиталистическом обществе свободное время од-

ного класса создается посредством п р е в р а щ е н и я* всей жизни масс в рабочее время".

137. Здесь текст всех трех изданий (A, B и C) расходится между собой в частностях, без существенной разницы в содержании. Перевод дан по наиболее полному тексту C.

138. *едоков* — в оригинале только suorum — своих. Это же слово вставлено нами и ниже, где в оригинале опять только suo.

139. Подобное требование предъявляли к женщинам писатели древности,— например, Тацит („Германия", гл. XX), который ставил развращенным римлянкам в пример добродетельных германок. Ср. его же „Разговор об ораторах", гл. XXVIII, а также Плутарха, „О воспитании детей", гл. V. Античным авторам подражали гуманисты,— например, Эразм в диалоге „Родильница". Все это место „Утопии", особенно же эпизод о кормилицах, напоминает „Государство" Платона (V, 460).

140. В современном „Утопии" латинском трактате „О дисциплине и образовании отроков", вышедшем четвертым изданием в Париже в 1531 г., имеются следующие наставления в отделе „О действиях во время прислуживания за столом": „Стой прямо и составив ноги, тщательно наблюдая, нет ли в чем нехватки. Когда надо что налить, или подать, или принести, или убрать, делай это вежливо... Стоя, не нарушай и не прерывай разговора других; но на вопрос отвечай кратко". На рисунке Гольбейна, изображающем семью Мора, сидят только два лица: сам Мор и его престарелый отец, а все остальные присутствующие здесь стоят на ногах или на коленях.

141. Сам Мор был большим любителем всех родов музыки. См. письмо Эразма к Гуттену, приведенное у Каутского (стр. 116).

142. Английские комментаторы довольно неудачно указывают здесь на 27-ю главу биографии Ликурга, написанной Плутархом. Там сказано, что спартан-

---

* В тексте перевода ошибочно напечатано „прекращения".

ский законодатель запрещал гражданам путешествия и вообще бесцельные передвижения,— чтобы они не набирались иноземных обычаев и не ввозили в Спарту подражания неблагоустроенным государствам и вообще иному политическому строю.

143. *супружеской половины* — в оригинале: consentiente coniuge. Все переводчики и толкователи понимают эти слова как „с согласия жены" и подчеркивают вежливость утопийцев. Но дело в том, что латинское слово coniunx — общего рода, т. е. может обозначать как жену, так и мужа. Это мы и старались оттенить в переводе.

144. *противозаконного сборища* — в оригинале: conciliabulum. Это значение присвоено данному слову только в поздней латыни, где понимается как: собрание еретиков, шайка грабителей, разбойничий притон.

145. *в амауротском сенате.*—В изд. А вместо Amaurotico стоит Mentirano. Это показывает, что автор хотел первоначально назвать главный город Утопии иначе, производя его имя от латинского глагола mentiri (лгать), чтобы подчеркнуть этим мнимость его существования.

146. Ср. слова В. И. Ленина: „Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается мне, сделаем из золота общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Это было бы самым „справедливым" и наглядно-назидательным употреблением золота для тех поколений, которые не забыли, как из-за золота перебили десять миллионов человек и сделали калеками тридцать миллионов в „великой освободительной" войне 1914—1918 годов..." („О значении золота теперь и после полной победы социализма", Собрание сочинений, изд. 1-е, т. XVIII, ч. 1, стр. 413). Намеки на подобное отношение к золоту заметны еще у Платона („Законы", V, 742; „Государство", III, 417), который, однако, отрицал его, исходя из реакционной концепции своей кастовой аристократически-жреческой республики, основанной на рабском труде и коммунизме потребления.

147. *орехи, амулеты и куклы* — в оригинале: nuces, bullas et pupas — игрушки древнеримских детей. „Бро-

сить играть в орехи" (nuces relinquere) было поговорочным выражением, обозначавшим выход из детского возраста (ср. немецкое „Kinderschuh ablegen"— снять детские башмаки). Булла была шариком, который носили дети, преимущественно мальчики, на шее до принятия ими так называемой мужской одежды (toga virilis). У богатых и знатных он был золотой, у бедных кожаный, и имел назначение предохранять ребенка от дурного глаза и порчи. В куклы девочки играли до замужества, т. е. примерно до 14—16 лет.

148. *Анемолийский* — от греческого: ἀνεμόλ ιος собственно: ветреный, в переносном значении: несуществующий, мнимый.

149. Под греч. словом *диалектика* здесь разумеется искусство вести диспуты и рассуждения, основанное на средневековой формальной логике со всеми ее уродствами.

150. *„Малая логика"* — разумеется бездарный схоластический учебник XIII века, составленный Петром Испанцем (Шпангейм). Так как автор стал впоследствии папой, книжка получила широкую известность. „Малой" она названа была за свой небольшой объем, но сам Мор шутливо объяснял в одном письме это ее заглавие тем, что в ней „мало логики".

151. *ограничениях, расширениях и подстановлениях* — в оригинале: de restrictionibus, amplificationibus ac suppositionibus — термины схоластической логики. Содержание соответствующих глав „Малой логики" Петра Испанца имеется в статье проф. Владиславлева „Схоластическая логика" („Журнал министерства народного просвещения", 1872, VIII, 234): „Ограничение есть уменьшение объема значения термина через присоединение ограничивающего прилагательного: например, „белый человек бежит", прилагательное „белый" ограничивает значение слова „человек". Расширение есть распространение термина: например, „человек может быть антихристом". Расширение производится или с помощью глагола — „может", или имени прилагательного — „возможно", может простираться на понятие или на время (например, „человек необходимо есть животное")"...

„Подстановление может быть общее и определенное. Общее производится с помощью общего термина (например, „человек"), частное — чрез определенный термин („Сократ — этот человек"). В свою очередь, общее разделяется на природное и случайное..." и т. д.

152. В оригинале: secundas intentiones — вторые устремления. Это также термин схоластической логики. Первое „устремление" разума в отношении к внешним предметам различает последние в их чистой индивидуальности, каковы они на самом деле, и обозначает получаемое от них непосредственное впечатление; второе „устремление" обозначает те же предметы с той точки зрения, как их следует понимать, особенно в применении к „родам" и „видам" (genus et species).

153. *самого человека вообще* — т. е. абстрактное понятие человека, а не отдельную, индивидуальную личность.

154. *содружества и раздоры блуждающих светил* — термины астрологии, т. е. искусства гадания по звездам, очень распространенной во времена Мора. Вместе с немногими передовыми людьми той эпохи Мор строго отличал астрономию от астрологии. Относясь с уважением к первой, он издевался над второй. В одной из своих эпиграмм он высмеивает астролога, который все может угадать по звездам, кроме тех случаев, когда жена наставляет ему рога.

155. Подразумевается так называемая этика.

156. Здесь Мор имеет в виду трактат Цицерона „О высшем благе и зле", откуда взята вся дальнейшая философская терминология.

157. Имеется в виду учение греческого философа Эпикура (341—270 до н. э.). Веспуччи сближал с ним мировоззрение вновь открытых им в Америке племен, с которыми Мор связывал свой рассказ об Утопии. В действительности, разумеется, между примитивным утилитаризмом этих племен и эпикурейской философией, представлявшей собой сложный продукт древнегреческого общества, есть лишь то общее, что оба мировоззрения основывают свою этику на материалистических основаниях. Именно этой своей стороной они и привлекали внимание гуманистов.

158. Не следует впадать в ошибку многих переводчиков, будто Мор имеет здесь в виду только религию утопийцев, а не всякую религию вообще.

159. *противная партия* — т. е. противники эпикурейцев, философы-стоики, в противовес материалистической этике эпикурейцев выдвигавшие отвлеченную добродетель, понимаемую как отказ от наслаждения, в качестве основы этики, и тем самым предвосхищавшие христианский аскетизм, против которого боролись гуманисты.

160. Это определение принадлежит стоикам.

161. Английские комментаторы цитируют здесь философа Гоббса (1588—1679): „Со всяким человеком надо соблюдать верность или не заключать договора: то-есть надо быть или в открытой войне, или в твердом и надежном мире“ („О гражданине“, I, 3, 36).

162. *угнетенный*—в оригинале: oppressus. Это слово имеется только в издании В.

163. Мысль о том, что истинное благородство не связано со знатным происхождением, впервые высказана римским поэтом I—II вв. Ювеналом (VIII сатира). Затем, с приходом на историческую арену буржуазии, она становится широко распространенной, мы встречаем ее у Данте, Боккаччо, гуманистов (Поджо, Бруни) и т. д.

164. Сатирический намек на Генриха VIII и его придворных, питавших сильное пристрастие к драгоценным камням.

165. *зверька* — в оригинале: animalculi — слово, сочиненное Мором. Слова Мора об охоте напоминают рассуждения Эразма („Похвала глупости“, гл. XXXIX, изд. „Academia“, 1933, стр. 106—107).

166. *противоположном* — перевод дан по поправке Лептона: contrario; издания А, В и С дают: extrario—внешнем.

167. *более поразительное* — так выражен нами здесь оттенок, даваемый латинским союзом sed оригинала.

168. *ученых* — в оригинале: scholasticorum. Циглер (p. XXIX) понимает это слово как „студент“. Но такой перевод неправилен, как показывает Плиний Младший („Письма“, I, 24), который называет этим именем своего друга, известного историка Светония.

Ср. статью В. В. Водовозова — „Народное хозяйство", 1901, X, 164, примеч. 2.

169. *Персидский* — ср. объяснение слова *барван* (примеч. 135) и *бутрески* (примеч. 217).

170. *Феофраст* (ок. 372—287 до н. э.) — греческий философ и натуралист, автор „Истории растений" и „Характеров". Его сочинения были впервые напечатаны в Венеции в 1497 г.

171. Этот штрих, вероятно, взят из личной жизни Мора, у которого была обезьяна, что видно из рисунка Гольбейна, где изображено семейство Мора, и „Разговоров" Эразма, который говорит, что весь дом Мора был наполнен животными. См. Каутский, стр. 118—119.

172. *Ласкарис,* Константин — византийский ученый XV века. Его греческая грамматика, изданная в Милане в 1476 г., была первой книгой, напечатанной греческим шрифтом.

173. *Федор Газа* (1398—1478) — византийский ученый; его греческая грамматика была напечатана в Венеции в 1495 г.

174. *Гесихий* — греческий грамматик, вероятно, VI века; его греческий словарь был напечатан в Венеции в 1514 г.

175. *Диоскорид Педаний* — греческий врач I века н. э.; первое издание его трудов вышло в Венеции в 1499 г.

176. *Плутарх* — греческий историк I—II вв., автор биографий выдающихся греков и римлян. Здесь разумеются его „Моралии", ряд сочинений на самые разнообразные темы.

177. *Лукиан* (II век) — древнегреческий писатель, подвергший скептической критике древние верования греческого народа, сложившиеся в стройную мифологию, но переставшие удовлетворять новому буржуазному сознанию. Маркс называл его античным Вольтером. Мор переводил его сочинения на латинский язык.

178. *Аристофан* (V—IV век до н. э.) — древнегреческий автор комедий; его комедии были впервые напечатаны в Венеции в 1498 г.

179. *Гомер* — легендарный автор „Илиады" и „Одиссеи".

180. *Еврипид и Софокл* — греческие трагики V века до н. э.; их трагедии были напечатаны в Венеции в 1503 и 1502 гг.

181. *Альд Мануций*—знаменитый венецианский типограф (ок. 1450—1515), изобретатель курсивного шрифта. В его мастерской были впервые напечатаны очень многие произведения древних классиков. Мор писал под свежим впечатлением его смерти.

182. *Фукидид* (460—395 до н. э.) — древнегреческий историк; его сочинения впервые были напечатаны Альдом в 1502 г.

183. *Геродот* (ок. 480—424 до н. э.) — древнегреческий историк; его сочинения впервые были напечатаны Альдом в 1502 г.

184. *Геродиан* (170—240) — древнегреческий историк, писавший о римских императорах.

185. *Триций Апинат* — это имя составлено Мором из двух латинских слов: tricae и apinae, которые означают: безделки, пустяки; точная этимология их неизвестна.

186. *Гиппократ* (V век до н. э.) — древнегреческий врач, называемый „отцом медицины"; сочинения его впервые были напечатаны Альдом-сыном в 1526 г.

187. *Гален* (131—201) — древнегреческий врач; его труд „Малое искусство" назван так в противовес другому, более обширному его труду — „Большое искусство", или „Метод врачевания".

188. *батрак* — в оригинале: mediastinus, что буквально значит „середняк". Значение этого слова, повидимому, не было ясно; нередко так назывался у римлян раб, стоявший ниже других рабов в доме.

189. Самоубийство в подобных случаях рекомендовали стоики.

190. Аристотель для мужчины повышает возраст до 37 лет или немного меньше („Политика", VII, 14; перевод Жебелева, стр. 344). Платон определяет для женщин 16—18—20 лет, для мужчины 25—30—35 („Законы", 721 и 785, ср. там же, примеч. 2).

191. Английские комментаторы указывают, как на прообраз этого обычая, на XIV главу биографии

Ликурга, написанной Плутархом. Однако там перечислены только случаи, когда законодатель допускал публичное обнажение спартанских девушек. Во французском переводе „Утопии" Гюёдеевилля (Лейден 1715) этот обычай изображен на любопытной гравюре, строго преследовавшейся старой цензурой. На это место „Утопии" намекает Бекон в „Новой Атлантиде", говоря: „Я читал в книге одного из наших граждан о вымышленном государстве, где супружеской чете позволяется, до контракта, видеть друг друга голыми". „Это кажется обитателям Атлантиды отвратительным, потому что они считают издевательством отказ от брака после такого интимного знакомства. Они имеют более цивилизованное средство узнавать скрытые физические недостатки друг друга. Друг или родственник одного из желающих вступить в брак может видеть другого в бане. Какой прогресс по сравнению с варваром Мором!" (Каутский).

192. *Дурачки* (или шуты) — в оригинале: moriones. У самого Мора был такой шут, изображенный на рисунке Гольбейна, представляющем семейство Мора.

193. *Мысль Тацита* („Летопись", III, 27): „В наиболее испорченном государстве наибольшее количество законов".

194. Ср. подобные же насмешки над „правоведами" у Эразма („Похвала глупости", гл. I, изд. „Academia", 1933, стр. 135–136).

195. *Вот в Европе...* — сказано с едкой иронией. Несколько ниже — „папами", в оригинале — „верховными первосвященниками".

196. *верными* — в оригинале: fideles — обычное обозначение христиан; такой же сарказм, как и раньше.

197. Это взято из старой английской практики. См. берлинскую диссертацию: Bendeman, „Studie zur Staats-und Sozialauffassung des Thomas Morus" (Бендеман, „Исследование о понимании Томасом Мором идеи государства и социализма"), 1928, стр. 28.

198. *нефелогеты* — вымышленное греческое имя, составлено из: νεφελη — облако, и γήτης — земледелец; значит: жители облаков. Подобные имена встреча-

ются в „Правдивой истории“ Лукиана (гл. XVI и XXIX).

199. *алаополиты* — имя такого же происхождения; первая часть — ἄλαος — слепой, вторая — πολίτης — гражданин, т. е. слепые, несуществующие граждане.

200. *Искусством и хитростью.* Ср. *Макиавелли,* „Рассуждение о Тите Ливии“ (перевод под ред. Н. Курочкина, Спб. 1869, стр. 488), кн. III, гл. 40: „Хотя употреблять обман в жизни было бы отвратительно, тем не менее на войне этот поступок становится полезным и достославным; и тот, кто побеждает неприятеля посредством этого, заслуживает такую же похвалу, как тот, который побеждает оружием. Подобное суждение высказывают те, которые писали историю великих людей...“

201. *физическою силою* — в оригинале: corporis, что Лептон предлагает изменить в corporibus; но эта поправка лишняя, так как к corporis надо дополнить viribus, стоящее в конце предшествующей фразы.

202. Намек на тожественные интриги Генриха VIII и его министра, лорда Дакра, против Шотландии. Эти интриги велись в 1515 г., т. е. в то время, когда Мор писал „Утопию“.

203. *Заполеты* — имя, придуманное Мором, составлено из греческих ζα — усиливающая частица, и πωλ ίτης — продавец, т. е. вполне продажные. Как показывает примечание на полях оригинала, разумеются швейцарцы, из которых преимущественно вербовались наемные войска.

204. Подобный обычай был у спартанцев (Фукидид, IV, 38).

205. Как это было в обычае у древних галлов, британцев и германцев (см. „Записки Цезаря о войне с галлами“, VII, 51, и „Германию“ Тацита, гл. VIII и XVIII). Об участии женщин в войнах говорится и в „Государстве“ Платона (VII, 457).

206. Здесь разумеется, вероятно, *золотой* дукат, стоимостью около $9^1/_2$ шиллингов в довоенной валюте. Он был в ходу в Голландии, Швеции, Австрии и Московии. Таким образом, 700 000 дукатов в довоенной валюте составляют 326 500 фунтов стерлин-

гов. Встречаемое несколько ниже название *квесторы* значит — казначеи.

207. *планет* — в оригинале: errantium siderum — блуждающих светил.

208. *приписывают* — в оригинале: acceptos referunt — записывают на приход.

209. Выше было сказано, что язык утопийцев напоминает персидский (см. примеч. 135).

210. *Митра* — древнейшее персидское божество света. Культ его, начиная с конца I века н. э., был сильно распространен в Римской империи и оказал большое влияние на верования и обряды христиан.

211. Примечание на полях оригинала поясняет, что здесь разумеются монастыри. Сказано это, вероятно, иронически, так как современные Мору монастыри были далеки от идеала.

212. *шестерых* — товарищей Гитлодея (см. стр. 32).

213. *древнейших* — в оригинале: antiquissima; некоторые комментаторы понимают это слово как „важнейших", однако это не вяжется с дальнейшими словами — „с самого начала" (inde ab initio).

214. *в вину* — в оригинале: fraudi. Таким образом, Мор является сторонником самой широкой веротерпимости.

215. Вопреки христианской точке зрения, Мор считает сожжение трупа гораздо более почетным, чем зарывание его в землю.

216. Здесь разумеются так называемые „Братья общей жизни" (Fratres communis vitae), поставившие себе целью реформировать общество на основах христианства. Эта община была основана в Голландии в XIV веке. В одной из устроенных ею школ учился Эразм.

217. *бутрески* — Buthrescas; это название, придуманное Мором, обычно объясняется как составленное из греческих: βου — усиливающая частица, и θρῆσκος — богобоязненный. Однако проф. Фрейман указал на возможность выводить данное имя и из персидского языка, именно, из слова „бутперест" (butparast) — почитатели идолов Будды.

218. Никто из комментаторов Мора не отметил, что отдел о священниках в „Утопии" близко напоминает

13 главу VI книги „Записок Цезаря о войне с галлами", где говорится о галльских жрецах-друидах. Это сходство доходит иногда до текстуальных заимствований.

219. В подобном поведении утопийских священников следует видеть сатиру Мора на современное ему христианское духовенство. Так, епископ Уольсей (Wolsey) поощрял и одобрял Генриха VIII при его нападении на Францию.

220. *цинемерными и трапемерными.*— Смысл этих слов неясен. Вторая часть их, повидимому, произведена от греческого ἡμέρα — день, откуда ἡμερινός — дневной.

221. Перевод дан по изданию B. В изданиях A и C вместо sua (своей) стоит summa — наивысшей.

222. Эта деталь, повидимому, заимствована из античной древности, придававшей огромное значение гаданию по птицам. Ср. Плутарх, „О разумности животных", гл. XXII.

223. Это рассуждение о значении музыки написано, повидимому, под влиянием Аристотеля („Политика", VIII, 5, 8).

224. *общество* — в оригинале: reipublicae; это слово встречается в данном эпизоде довольно часто и имеет два значения: община и государство, поэтому выдержать здесь одинаковый перевод его очень трудно.

225. Золотых дел мастера в ту эпоху были и банкирами.

226. Тут имеются в виду упомянутый ранее (ср. примеч. 128) закон о рабочих 1496 г. и его повторение в 1514 г.

227. На полях оригинала к этим словам сделано примечание: „Заметь это, читатель".

228. *как вьючный скот* — эта прибавка имеется только в издании B.

229. *адская змея* — в оригинале: Averni serpens. Авернское озеро (в Южной Италии) считалось местом, у которого был вход в преисподнюю.

230. *Рыба подлипало* — Echeneis remora L. По мнению древних, присасываясь к кораблю, она задерживала его ход (Плиний, „Естественная история", IX, 91; XXXII, 1).

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Томас Мор.—Гравюра на дереве (фронтиспис) 7
Титульный лист базельского издания „Утопии“ 1518 г., проверенного самим Мором, с гравюры Гольбейна 48
Общий вид острова Утопии (из базельского издания „Утопии“ 1518 г.) 64
Алфавит утопийцев (из базельского издания „Утопии“ 1518 г.) 80
Коммунальная столовая в Утопии (из амстердамского издания „Утопии“ 1715 г.) . . . 112
Действующие лица в разговоре об Утопии (из базельского издания „Утопии“ 1518 г.) 144
Взаимные смотрины жениха и невесты (из амстердамского издания „Утопии“ 1715 г.) 160
Семейство Томаса Мора, с гравюры Гольбейна 192

СОДЕРЖАНИЕ

В. П. Волгин. Историческое значение „Утопии“ 7
А. И. Малеин. Главнейшие издания и переводы „Утопии“ 22

Т. МОР. УТОПИЯ

Томас Мор шлет привет Петру Эгидию . . 33
Первая книга беседы, которую вел выдающийся муж, Рафаил Гитлодей, о наилучшем состоянии государства, в передаче знаменитого мужа, Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона 43
Вторая книга беседы, которую вел Рафаил Гитлодей, о наилучшем состоянии государства, в передаче лондонского гражданина и виконта, Томаса Мора 99
О городах и преимущественно об Амауроте 103
О должностных лицах 107
О занятии ремеслами 103
О взаимном общении 117
О путешествиях утопийцев 124
О рабах 155
О военном деле 168
О религиях утопийцев 181

Комментарии 209

Перечень иллюстраций 238

Редактор В. П. Волгин
Художественная редакция
М. П. Сокольникова
Лит.-технический наблюдение
В. В. Чешихина
Техред И. А. Подсухина
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

***

Сдано в набор 2/III 1935 г.
Подп. к печати 7/VII 1935 г.
Тираж 20 300. Уполн. Главл.
Б-5704. Зак. тип. 8653. «Ас» 134
Инд. А—1. Бум. 74×105—1/32
П. л. 7 1/8+8 вкл. Авт. л. 8 1/2

***

Отпечатано на ф-ке книги
«Красн. пролетарий», Москва,
Краснопролетарская, 16.

Цена Р. 3.50

Переплет Р. 2.00

СОЦИАЛЬНЫЕ УТОПИИ

Вышли из печати

КАМПАНЕЛЛА

Государство солнца

Выходят из печати.

ЭТЬЕН КАБЭ

Путешествие в Икарию

Готовятся к печати:

РЕТИФ де ла БРЕТОН

Южное открытие

ВЕРРАС Д'АЛЛЕ

История севорамбов

«*A C A D E M I A*»

Москва, Б. Вузовский пер., 1

Ленинград, Проспект 25 Октября, «Дом книги»